

ЮКИО
МИСИМА

Солнце и сталь



АЗБУКА-КЛАССИКА

Азбука-классика

Юкио Мисима
Солнце и сталь

«Азбука-Аттикус»

1961

УДК 821.521
ББК 84(5Япо)-4+6

Мисима Ю.

Солнце и сталь / Ю. Мисима — «Азбука-Аттикус»,
1961 — (Азбука-классика)

ISBN 978-5-389-14175-9

Юкио Мисима - самый знаменитый и читаемый в мире японский писатель. Прославился он в равной степени как своими произведениями во всех мыслимых жанрах (романы, пьесы, рассказы, эссе), так и экстравагантным стилем жизни и смерти (харакири после неудачной попытки монархического переворота). В настоящее издание вошли две пьесы «Маркиза де Сад» и «Мой друг Гитлер», эссе «Солнце и сталь» и знаменитая новелла «Патриотизм», которая, по словам Мисимы, является «рассказом о подлинном счастье».

УДК 821.521
ББК 84(5Япо)-4+6

ISBN 978-5-389-14175-9

© Мисима Ю., 1961
© Азбука-Аттикус, 1961

Содержание

Драмы	6
Маркиза де Сад	6
Мой друг Гитлер	44
Патриотизм	75
Солнце и сталь	87
Икар	122

Юкио Мисима

Солнце и сталь

三島由紀夫

Yukio Mishima

SADO KOSHAKU FUJIN

Copyright © The Heirs of Yukio Mishima, 1965

WA GA TOMO HITTORA

Copyright © The Heirs of Yukio Mishima, 1968

TAIYO TO TETSU

Copyright © The Heirs of Yukio Mishima, 1968

YUKOKU

Copyright © The Heirs of Yukio Mishima, 1961

All rights reserved

Перевод с японского Григория Чхартишвили

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Валерия Гореликова

© Г. Чхартишвили, перевод, 1993

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017 Издательство АЗБУКА®

Драмы

Маркиза де Сад Пьеса в трех действиях

Действующие лица

Маркиза Рене де Сад.

Госпожа де Монтрёй, ее мать.

Анна де Лонэ, ее сестра.

Баронесса де Симиан.

Графиня де Сан-Фон.

Шарлотта, горничная г-жи де Монтрёй.

Время действия

Действие первое – осень 1772 г.

Действие второе – позднее лето 1778 г.

Действие третье – весна 1790 г.

Место действия

Париж. Салон госпожи де Монтрёй.

Действие первое

Графиня де Сан-Фон (*в платье для верховой езды, с хлыстиком в руке, раздраженно ходит по сцене*). Пригласила, называется! «Будьте так любезны, дорогая графиня, загляните ко мне, когда будете возвращаться с прогулки». Уж так упрашивала! Никогда у нее не бывала, но тут решила – ладно, заеду. И что же? Она еще заставляет меня ждать!

Баронесса де Симиан. О, не судите госпожу де Монтрёй слишком строго. Она совершенно раздавлена тем, что случилось с ее зятем.

Графиня. Вы имеете в виду ту историю трехмесячной давности?

Баронесса. Время не облегчило ее страданий. Да и потом, мы же еще ни разу не виделись с госпожой де Монтрёй с тех пор, как случилось... ну, это самое.

Графиня. *«Это самое»!* Вечно мы стыдливо опускаем глазки, говорим «это самое» и со значением улыбаемся. А всего дел-то. (*Красноречиво щелкает хлыстом.*)

Баронесса (*смущенно прикрывает лицо рукой*). Сударыня, как вы можете! (*Крестится.*)

Графиня. Ну да, тут, конечно, полагается перекреститься. И все довольны. А каждый в глубине души смакует «это самое». Что, не так? Или вы, госпожа де Симиан, может быть, пребываете в неведении?

Баронесса. Я ничего-ничего не знаю.

Графиня. Так я вам и поверила.

Баронесса. Я помню Альфонса еще маленьким мальчиком. Каким очаровательным златокудрым ребенком он был! А гадостей я не желаю ни видеть, ни слышать – закрываю глаза и затыкаю уши.

Графиня. Ну, как угодно. Зато уж я постаралась за эти три месяца разузнать все как можно подробнее и точнее. Ушки затыкать будете?

Де Симиан вздрагивает.

Ну, что же вы? (*Щелкает хлыстом.*) Уши-то прикройте. (*Кончиком хлыста щекочет баронессе ухо. Та поспешно прикрывает уши ладонями.*) Вот так, отлично... Итак, три месяца назад, а точнее, двадцать седьмого июня наш дорогой Донасьен Альфонс Франсуа маркиз де Сад в сопровождении своего слуги Латура отправился в Марсель и утром одного чудесного дня на квартире у некой Мариетты Борелли, на четвертом этаже, собрал четырех девиц. Там были сама Мариетта, двадцати трех лет, Марианна, восемнадцати лет, Марианетта и Роза – обе двадцати лет... Натурально, все – шлюхи.

Де Симиан, по-прежнему прижимающая ладони к ушам, вздрагивает.

Ой, вы, оказывается, все слышите! Должно быть, глазами?.. Маркиз де Сад в этот день был в пепельно-сером камзоле на голубой подкладке, в шелковом жилете апельсинового цвета и того же оттенка панталонах. На его, как вы изволили выразиться, златокудрой голове красовалась шляпа с перьями, на боку висела шпага, а в руке маркиз держал тросточку с круглым золотым набалдашником. Он вошел в комнату, где его уже ожидали вышепоименованные девицы, зачерпнул из кармана горсть луидоров и объявил, что право первенства будет принадлежать той из дам, кто угадает, сколько в его руке монет. Угадала Марианна. Маркиз велел ей и Латуру остаться, а прочих девиц выставил до поры до времени за дверь. Затем уложил Марианну и слугу на постель. В одну руку взял кнут и принялся хлестать девицу (*снова щелкает хлыстом*), а тем временем другой рукой стал... вот этак вот... возбуждать лакея. Представляете – одной рукой нахлестывает (*помахивает хлыстом*), другой – лакею...

Баронесса. Боже милостивый! (*Крестится и бормочет молитву.*)

Графиня. Самое время перекреститься. Заодно и слышно будет получше.

Де Симиан в смятении снова затыкает уши.

С другой стороны, не креститься – душу грехом отягощать.

Баронесса испуганно крестится.

Пожалуй, лучше уж слушать – я полагаю, Господь не обидится.

Баронесса, смирившись, слушает.

Продолжим. Во время всей этой сцены Альфонс величает слугу господином маркизом, а себя велит звать лакеем. Затем он отсылает слугу, извлекает из кармана хрустальную раззолоченную бонбоньерку и предлагает девице отведать ароматных конфеток. Когда та съедает их изрядное количество, маркиз сообщает, что это средство для испускания дурных газов.

Баронесса. Ой.

Графиня. На самом же деле это были любовные пилюли. Знаете, берется сушеный песочный жук, смешивается с толченой шпанской мушкой...

Баронесса. О господи, да откуда же мне такое знать!

Графиня. А жаль, вам не помешало бы хоть изредка употреблять это зелье. Марианна, например, слопала штук семь или восемь. Тогда маркиз...

Баронесса. Неужели он еще что-то натворил?

Графиня. Тогда маркиз говорит: «Сделай для меня кое-что, получишь луидор».

Баронесса. А что?

Графиня. А *это самое*, которое вы так обожаете... Смотрите-ка, видите вон ту статую Венеры посередине двора? Как сияют на солнце ее белоснежные мраморные бедра! Если я не ошибаюсь, перед тем как солнце уйдет за верхушки деревьев, его последний луч должен как раз падать на статую... Угадайте на что?

Баронесса (*подумав*). А! Я знаю! Знаю! Прямо на сатанинское место!.. Грех какой. Да за такое на костре жгли...

Графиня. Ну, мы отвлеклись. Наш Альфонс вручил девице зловещего вида кнут, утыканный шипами и весь бурый от засохшей крови, – очевидно, кнутом пользовались неоднократно – и велел хлестать его.

Баронесса. Ага, видите, в нем все-таки проснулось раскаяние! Он возжаждал кары, пожелал изгнать из себя беса!

Графиня. О нет, просто собственное страдание – в силу своей несомненной достоверности – доставляет маркизу еще больше наслаждения, чем мучить других. У Альфонса необычайная страсть к достоверности... Затем настал черед Мариетты. Сей девице маркиз велел раздеться догола и встать на четвереньки подле кровати. Для избежания на этот раз он избрал обыкновенную метлу, а вдоволь натешившись, приказал Мариетте той же метлой поколотить и его самого. Пока она старалась, маркиз ножичком делал на стене засечки: двести пятнадцать ударов, потом еще сто семьдесят, потом двести сорок. Итого получилось...

Баронесса. Восемьсот пятьдесят.

Графиня. Альфонс всегда любил математику. Утверждал, что лишь в ней есть подлинная достоверность и что если достичь поистине больших чисел, то порок обращается в благодать.

Баронесса. Как можно соединять порок и благодать?

Графиня. Благодать, по маркизу де Саду, можно обрести, лишь преумножая достоверное, и она, благодать, непременно должна ощущаться всеми органами чувств. Это не та благодать, коей тщетно дожидаются ленивцы и лежебоки. Вот в Марселе маркиз и приложил максимум стараний. Вернув в комнату лакея, он пустился с ним и Мариеттой в многотрудное плавание по океану наслаждений. Втроем они изобразили некое подобие трехпалубной галеры и дружно заработали веслами. А в небе еще пламенели кровавые краски рассвета – утро ведь только начиналось.

Баронесса. Наслаждение было таким многотрудным, очевидно, оттого, что по утрам человеку пристало трудиться в поте лица своего.

Графиня. Нет, милая, утренний час – время молитвы, поэтому труды маркиза скорее следовало бы уподобить богослужению.

Баронесса. Ох, гореть вам в геенне огненной.

Графиня. Спасибо на добром слове. Следом за Мариеттой настал черед Розы. Снова кнут, снова лакей, затем тройственные вариации, напоминающие тасование карточной колоды. Потом Альфонс призвал последнюю девицу, Марианетту, и все повторилось: свист кнута, сладкие конфетки из сушеного жука и так далее. В общем, все утреннее богослужение прошло, сопровождаемое криками боли и стонами наслаждения. По завершении церемонии маркиз вручил каждой девице по шесть серебряных монет и распрощался с ними.

Баронесса. Ну наконец-то!

Графиня. О, не спешите. Отпустив девиц, маркиз прилег отдохнуть, желая восстановить форму перед послеполуденными забавами.

Баронесса. Как, были еще и послеполуденные?

Графиня. Де Сад спустил жалюзи на окнах, обращенных к морю, и уснул безмятежным, детским сном. Это было невинное забытие, не отягощенное никакими мрачными видениями. Он словно погрузился в мягкий прибрежный песок, где мирно соседствуют обломки кораблекрушения, осколки раковин, высохшие водоросли и выброшенные волнами дохлые

рыбешки... Белая грудь маркиза ровно вздымалась во сне, и на ней лежали полосы золотого июньского солнца, просеянного сквозь жалюзи.

Баронесса. Так что же случилось во второй половине дня?

Графиня. Как вы нетерпеливы. На закате маркиз, сопровождаемый верным Латуром, отправился на поиски новой подруги, которой стала двадцатипятилетняя шлюшка по имени Маргарита. Де Сад последовал за ней до ее жилища, лакею на сей раз позволил удалиться, а Маргариту принялся угощать конфетами из своей хрустальной бонбоньерки.

Баронесса. Той самой отравой, да?

Графиня. Любовные пилюли, сударыня, – это вовсе не отравы. Девушка съела штук пять или шесть, а маркиз все подкармливает. И спрашивает ласковым таким голосом: «Как животики, не болит?»

Баронесса. Он затеял игру в доктора?

Графиня. Последовало *это самое*. Ну разумеется, забавы с кнутом... На рассвете Альфонс уселся в карету, запряженную четверкой лошадей, и отбыл из Марселя в свой замок Лакост. А дня через два девицы, его подружки, взяли да и отправились к судье. И все как есть рассказали. Не подозревали бедняжки, что чистосердечное признание не сильно облегчит и их собственную участь.

Входит Шарлотта, горничная.

Шарлотта. Мадам просит извинить за то, что заставила вас ждать. Она сию минуту будет здесь.

Графиня. Передай ей, что это было остроумно – свести вместе меня и баронессу де Симиан.

Шарлотта. А?

Графиня. Вавилонская блудница и святая дева. Сочетание во вкусе ее зятя. Браво!

Шарлотта. Чего? (*В замешательстве, хочет уйти.*)

Графиня. Куда же ты, Шарлотта? Эта негодная прежде служила у меня, а потом сбежала, теперь живет у госпожи де Монтрёй. Ты ведь все про меня знаешь, все мои секреты, а? Обо мне и так уж повсюду болтают бог весть что, называют прислужницей Сатаны. Правда, я, в отличие от маркиза, не увлекаюсь кнутами и бонбоньерками, но на Острове Любви и в самом деле не осталось такой лужайки, где бы я не примяла травку. Госпожа де Монтрёй не ошиблась в выборе. Ведь я столь близко к сердцу принимаю все, что касается *этого самого*, – лишь такая, как я, способна без лишних слов понять душу маркиза. Именно на это рассчитывала твоя госпожа, верно? Раньше она и на порог бы меня не пустила, опасаясь замараться, а тут вдруг такое гостеприимство...

Баронесса. Не стоит думать о госпоже де Монтрёй так скверно. Она совсем отчаялась и готова молить о помощи кого угодно – хоть Бога, хоть дьявола. Так давайте поможем ей – я, как вы выразились, в качестве святой девы, а вы – в качестве вавилонской блудницы.

Входит госпожа де Монтрёй.

Г-жа де Монтрёй. Я заставила вас так долго ждать – ради бога, простите. Графиня де Сан-Фон, баронесса де Симиан, вы так добры, что откликнулись на мою просьбу. (*Жестом отсылает Шарлотту.*) Вы ведь, графиня, возвращаетесь с конной прогулки?

Графиня. Сегодня моя лошадь словно взбесилась. Никогда с ней такого не было. Я уже и хлыстом, и шпорами – она ни в какую, так и пышет огнем. Мой берейтор сказал, что я была похожа на древнюю амазонку. А как, должно быть, вспыхивала на солнце золотая насечка моего седла, когда лошадь вставала на дыбы...

Г-жа де Монтрёй. О, я восхищаюсь вашим мужеством. Одна из моих лошадей так норовиста, я просто не знаю, что с ней делать.

Графиня. Какая же это? Иноходец или та, белая? Не удивляйтесь, о лошадях я знаю все. Главная беда – в конюхах. Эти бездельники только и знают, что за девками гоняться, а в остальное время просто дрыхнут. Чем выше положение человека, тем утонченнее его удовольствия. Возьмем, к примеру, вашего родственника. Происхождение его столь высоко, что он даже несколько перебарщивает по части утонченности. Маркиз, выражаясь фигурально, очищает заржавевшую кровь своих благородных предков, как чистят родовой меч или доспехи. Однако всю ржавчину из крови удалить не так-то просто, поэтому обнаженным женским телом он вынужден любоваться сквозь кровавые разводы...

Г-жа де Монтрёй. Вы хотите сказать, что конюхи добродетельнее аристократов? В последнее время пороки дворянства действительно стали притчей во языцех, но лишь потому, что народ с давних пор привык считать своих господ образцом добродетели.

Графиня. Дело не в этом. Просто черни надоела добродетель, черни хочется вкусить порока, бывшего доселе привилегией аристократов.

Баронесса. Не нужно спорить, мы ведь пришли сюда не для этого. Госпожа де Монтрёй, все знают вас как даму самых строгих правил, безупречную во всех отношениях, никто и никогда не осмеливался говорить о вас дурно. Я очень хорошо понимаю, как вы должны страдать от выходов вашего беспутного зятя, но такова уж, видно, воля Божья. Расскажите нам все как есть. Уже одно это облегчит вашу душу, а мы с госпожой графиней не обманем вашего доверия.

Г-жа де Монтрёй. Это были прекрасные слова, госпожа де Симиан... Хотите верить, хотите нет, но, когда моя дочь Рене выходила замуж за Альфонса, я нарадоваться не могла на своего будущего зятя. Я считала, что он, быть может, немного легкомыслен, но зато так умен, так остроумен, так любит Рене...

Графиня. К тому же благодаря этому союзу ваша семья приблизилась ко двору.

Г-жа де Монтрёй. Это само собой, но и без того я была просто очарована маркизом. Представляете, когда после свадьбы мы все жили в замке Эшофур, Альфонс ставил пьесы собственного сочинения, а мы с Рене в них играли...

Баронесса. О, как я вас понимаю. Альфонс с детства был очень добр и необычайно оригинален. Помню, как-то, гуляя по розарию, я занозила палец шипом розы и заплакала от боли. Альфонс вытащил занозу и был настолько мил, что поцеловал ранку.

Графиня. Выходит, его уже тогда привлекал вкус крови.

Баронесса (*в сердцах*). Вы из него делаете какого-то вампира!

Графиня. Все знают, что вампиры весьма милы и обходительны.

Г-жа де Монтрёй. Не ссорьтесь, прошу вас. Альфонса можно осуждать сколько угодно, но лучше он от этого, увы, не станет. В те самые счастливые дни, когда зять ставил с нами спектакли, он тайком частенько наведывался в Париж – я узнала об этом значительно позже – и... проводил там время... с женщинами определенной профессии...

Графиня. Вы хотите сказать, со шлюхами.

Г-жа де Монтрёй. Вы, графиня, так решительны. Как лихо вы произнесли это словечко... Да, Альфонс распутничал именно с женщинами этого сорта. Все это было бы еще полбеды: в конце концов, развратный зять – проблема внутрисемейная, и, кроме пересудов в обществе, опасаться, казалось бы, нечего. Однако через пять месяцев после свадьбы Альфонс угодил в Венсенскую тюрьму. Именно тогда я и узнала всю правду. О, какой это был кошмар! Я пустила в ход все свое влияние, тем временем моля Бога только об одном: чтобы Рене ни о чем не узнала. Через пятнадцать дней мне удалось добиться, чтобы зятя освободили. Я сделала это из жалости к дочери, уверяя себя, что Альфонс просто оступился по молодости. К тому же Рене так его любила... Уже потом, значительно позднее, стало ясно: то были не случайные грехи молодости, о нет!

Баронесса. Как я вас понимаю.

Г-жа де Монтрёй. И вот уже девять лет я только тем и занимаюсь, что спасаю доброе имя рода де Сад и честь моей бедной дочери, веду тяжкую борьбу без всякой надежды на победу. Я отказалась от жизненных радостей, истратила последние сбережения. Все мое время и все мои силы уходят на то, чтобы покрывать бесчинства, которые устраивает Альфонс. А чем мне помогла семья маркиза? Старый граф, его отец, измученный скандальным поведением сына, только ругался и сыпал проклятиями. Впрочем, его уж пять лет как не стало... Альфонс доставил мне неисчислимые страдания. Правда, иногда из каких-то потаенных глубин его души пробивался чистый родник искренности и доброты. И тогда мою жизнь озарял слабый луч надежды. Но родник неизменно иссякал, следовала новая безобразная выходка, и невозможно было предугадать, когда родник забьет опять... Мать маркиза жива, но от нее нет никакой помощи. Это весьма холодная, бесчувственная особа. Последние двенадцать лет она живет в монастыре. У нее громада фамильных бриллиантов, но она даже ради свадьбы собственного сына не согласилась продать хоть бы один... Почему я должна быть нянькой милому сынку этих милых родителей? То у него скандальный роман с той актриской, Колетт, и я сбиваюсь с ног, чтобы замять дело. То, четыре года назад, он устраивает дебош в селении Аркёй, и я всеми правдами и неправдами добываю королевский указ о помиловании. Всего семь месяцев – и Альфонс на свободе. А какие средства ушли на то, чтобы спрятать концы!

Баронесса. Что там случилось, в том селении?

Графиня выразительно щелкает хлыстом.

А-а, понятно.

Г-жа де Монтрёй (*с горечью*). Вы невероятно проницательны, дорогая графиня. Четыре года назад в селении Аркёй этот человек жестоко обошелся с девушкой-нищенкой. По сравнению с последним скандалом это был пустяк, но беда в том, что моя дочь обо всем узнала. Ей открылось подлинное, жуткое лицо мужа. Рене так добродетельна, она так любила Альфонса. Думаю, она и поныне не оправилась от удара. Ну а эта нынешняя история... Я давно уже отчаялась, но ради дочери... Да, на сей раз ради одной Рене я все-таки хочу попытаться спасти Альфонса... Однако этот случай переходит все границы! (*Плачет.*) Мои возможности исчерпаны, силы на исходе...

Графиня. Насколько я помню, герб де Садов изображает орла с двумя головами. Маркиз всегда держал обе головы своего орла высоко поднятыми. Одна голова – гордость древнего рода, восходящего к двенадцатому столетию; другая – порочные наклонности отпрыска этого рода. Вы, сударыня, в течение девяти лет постоянно пытались умертвить одну из этих голов, сохранив другую. Боюсь, задача оказалась непосильной. Пускай живут обе головы, – в конце концов, они растут из одного тела.

Г-жа де Монтрёй. Альфонс болен! Если отвести от него гнев людской, одновременно приложив все усилия к его исцелению, Господь рано или поздно смиростивится и счастливые дни еще вернутся. Так считает и Рене.

Графиня. Но как убедить больного, что нужно излечиться от недуга, если недуг доставляет ему наслаждение? Болезнь маркиза сладостна, вот в чем все дело. Постороннему глазу недуг кажется ужасным, но за острыми шипами скрывается благоуханная роза.

Г-жа де Монтрёй. Подумать только, ведь я уже очень давно знала, куда все это приведет! Я видела этот зловещий плод, ныне наполненный ядовитым соком, когда он был совсем зелен. Почему я не раздавила его еще тогда?

Графиня. Полагаю, что, если бы вы его раздавили, маркиз бы просто умер. Видите ли, плод, о котором вы говорите, – это апельсин, в котором вместо сока – алая кровь Альфонса. Сударыня, мой авторитет в области порока необычайно высок, так что выслушайте меня со

вниманием... Порок – это целая страна, в которой есть абсолютно все: хижины пастухов, ветряные мельницы, ручьи, озера. И не только идиллические детали ландшафта – есть там и глубокие ущелья, пышущие огнем и серой, есть дикие пустыни. Вы найдете там заброшенные колодцы и дремучие леса, в которых обитают хищные звери... Вы следите за моей мыслью? Это поистине необъятная страна, находящаяся под покровительством небес. Что бы ни стряслось с человеком, причины следует искать там, в той стране... Я расскажу вам о своем детстве, чтобы вы лучше могли меня понять. Ребенком и даже позднее, уже девочкой-подростком, я смотрела на мир как бы через подзорную трубу, только повернутую раструбом к себе. (*Показывает с помощью хлыстика.*) Так научили меня родители и все окружающие. Так велит общественная мораль и традиционное воспитание. Я смотрела в эту перевернутую подзорную трубу и видела очаровательные крошечные газоны с зелененькой травкой, раскинувшиеся вокруг нашего дома. Моей детской душе было хорошо и спокойно от этого невинного, игрушечного пейзажа. Я верила, что, когда вырасту, газоны просто станут пошире, травка повыше, а я буду жить так же, как все вокруг, – счастливо и безмятежно... И вдруг, сударыня, в один прекрасный день со мной происходит нечто. Без всякого предупреждения, без малейшего намека – просто приходит, и все. Внезапно осознаешь, что смотрела на мир не так, что, оказывается, глядеть-то надо не в большое окошечко, а в маленькое. И все в твоей жизни переворачивается. Я не знаю, когда это открытие сделал господин маркиз, но был и в его жизни такой день, наверняка был. Неожиданно его взору открылось всякое разное, о чем он и не подозревал. И он увидел, как из далеких расщелин поднимаются языки желтого пламени, заглянул в кроваво-красную клыкастую пасть зверя, высунувшегося из чаши. И он понял: его мир безграничен и есть в этом мире все. Абсолютно все. И потом ничто уже не способно было удивить маркиза... А марсельская история – что же, совершенно невинный эпизод: мальчик, играя, оборвал бабочке крылья, только и всего.

Г-жа де Монтрёй. Все равно я ничего в этом не пойму, как бы красноречиво вы ни объясняли. Так, потеряв голову, я мечусь уже который год – то на запад, то на восток. Единственное, что доступно моему пониманию, – это слово «честь»... Как вы, должно быть, знаете, судебная палата города Экс, несмотря на все мои хлопоты, приговорила Альфонса к отсечению головы, а поскольку осужденный скрывается, то двенадцатого числа прошлого месяца на центральной площади Экса сожгли его портрет. Я была здесь, в Париже, но мне мерещилось, что я слышу радостные вопли черни и вижу, как пламя пожирает холст – смеющиеся глаза Альфонса, его золотые локоны...

Баронесса. Пламя ада выплеснулось на миг из преисподней.

Графиня. Толпа, я полагаю, кричала: «Огня! Больше огня!» Это сожжение – полная ерунда. Их костер – пламя зависти. Черни никогда не возвыситься до такого порока, вот она и завидует!

Г-жа де Монтрёй. «Больше огня!» А если этот крик раздастся под окнами моего дома? Мне говорили, что чернь поминала и наши с дочерью имена.

Баронесса. «Больше огня!»? Не бойтесь, это всего лишь призыв к пламени очищения. Теперь, когда портрет маркиза сожжен, его грехи искуплены.

Графиня. «Больше огня!»... Значит, языки пламени хлестали по белым холемым щекам маркиза, по его золотым волосам? Двести пятнадцать ударов, потом еще сто семьдесят девять... Стоит ли удивляться, что портрет смеялся? В наслаждениях маркиза есть что-то леденящее, огонь пришелся весьма кстати.

Г-жа де Монтрёй. Войдите в мое положение. Сюда, в Париж, доходят вести одна хуже другой. Где скрывается зять – неизвестно. Моя дочь Рене льет слезы в замке Лакост. А младшая, Анна – Анна Проспер де Лонэ... Она – сама чистота и свежесть. Девочка могла бы в эти страшные дни побыть с матерью, один вид ее личика помог бы мне забыть о зловещей тени, что легла на наш род. И мы отправились бы с ней вдвоем путешествовать в какие-нибудь мирные,

красивые края... Я так одинока. Не на кого опереться. Все мои усилия тщетны. Я бы воззвала к небесам, моля о помощи, но горло мое пересохло, и нет сил кричать. *(Плачет.)*

Баронесса. Сударыня, не падайте духом. Мужайтесь. Я понимаю, зачем вам понадобилась богомольная баронесса де Симиан. И я завтра же отправлюсь к его преосвященству кардиналу Филиппу, который, на счастье, сейчас в Париже. Буду умолять, чтобы кардинал написал в Рим, его святейшеству. Папа заступится за маркиза.

Г-жа де Монтрёй. О, как я вам благодарна! У меня нет слов... Я и в самом деле хотела просить вас об этом, но, наверное, не осмелилась бы... Вы так добры, милая баронесса.

Графиня. Не то чтобы я стремилась соперничать с баронессой в доброте, да и, как вы знаете, праведность, честь и добродетель – не моя епархия. Но я помогу вам – не ради вас, сударыня, а ради маркиза. Мое оружие – постель. Такое же, как у тех шлюх, подружек Альфонса. Мне не составит труда совратить с пути праведного достойного мэтра Мопы, генерального судью. Насколько я поняла, требуется отменить приговор судебной палаты города Экса? Вы ведь ради этого меня пригласили? Хотели попросить, чтобы я поторговала своим телом. Не правда ли, сударыня?

Г-жа де Монтрёй. Что вы, мадам! Как вы могли подумать...

Графиня *(со смехом)*. Ладно уж, не оправдывайтесь. Ваш замысел – использовать порок на службе у добродетели – поистине великолепен. Порок тоже кое-чего стоит, и вы отлично это знаете. Даже причуды вашего зятя...

Г-жа де Монтрёй. Так вы мне поможете?

Графиня. Да.

Г-жа де Монтрёй. Благодарю. Я готова была на коленях молить вас. Как мне выразить вам свою признательность?

Графиня. Зачем мне ваша признательность?

Входит Шарлотта.

Шарлотта. Госпожа... *(Мнется.)*

Г-жа де Монтрёй. Говори. У меня не осталось таких тайн, которых уже не знали бы эти дамы... Да и нет у меня сил, чтобы выходить за дверь и шептаться там с тобой.

Шарлотта. Слушаюсь. Э-э...

Г-жа де Монтрёй. Ну что там у тебя?

Шарлотта. Приехала госпожа маркиза де Сад.

Г-жа де Монтрёй *(удивленно)*. Что?

Гости переглядываются.

Почему она вдруг покинула замок?.. И не предупредила... Ну что же ты,веди ее скорей сюда!

Шарлотта. Слушаюсь. *(Уходит.)*

Появляется маркиза де Сад.

Г-жа де Монтрёй. Рене!

Рене. Матушка!

Обнимаются.

Г-жа де Монтрёй. Как хорошо, что ты приехала, доченька. Я так по тебе соскучилась.

Рене. И я. Взяла вот и отправилась в дорогу. Я больше не в силах выносить жизнь в Лакосте! Эти осенние прованские дожди! Эти крестьяне, шушукующиеся за спиной и пляшущиеся

на жену маркиза де Сада во все глаза! А в замке сидеть мочи нет – тоска, одиночество. По ночам красный отсвет факелов на голых стенах. Крики воронья... Так захотелось увидеть вас, матушка, поговорить по душам. Села в карету и всю дорогу до самого Парижа твердила кучеру, чтоб настегивал лошадей.

Г-жа де Монтрёй. Я понимаю, Рене. Я понимаю... Вот и умница, что приехала. Не только тебе было тоскливо и одиноко. Твоя бедная мать вся извелась, день и ночь думала только о тебе, несчастная моя доченька. Не знаю, как я не лишилась рассудка... Ах, простите! Я не представила вас. Ты ведь незнакома с графиней де Сан-Фон? Моя дочь Рене, маркиза де Сад.

Рене. Счастлива познакомиться. И рада видеть вас, тетушка Симиан. Как давно мы не встречались.

Баронесса. Сколько тебе пришлось вынести, бедная девочка.

Г-жа де Монтрёй. Наши дорогие гости обещали помочь. О, они вдвоем окажут нам поистине неоценимую услугу! Поблагодари же их от всей души.

Рене. Я вам так признательна. Вы – наша последняя надежда.

Баронесса. Ну что вы, что вы. Я счастлива, когда могу прийти на помощь ближнему. Завтра же прямо с утра начну действовать.

Графиня. Пожалуй, пойду.

Баронесса. Да-да, и мне пора.

Г-жа де Монтрёй. Вы не представляете, как я вам благодарна. Не смею вас задерживать.

Рене. Я ваша неоплатная должница.

Графиня. Но все же, прежде чем я откланяюсь, позвольте, маркиза, задать вам один вопрос. Вы, должно быть, сочтете его нескромным. При первой встрече спрашивать о таком и в самом деле не следовало бы. Но я так любопытна...

Рене. Спрашивайте.

Графиня. Госпожа де Монтрёй поведала нам много любопытного о вашем супруге, да я, признаться, и без того была наслышана. Ваше семейство – простите за сравнение – как бы разгуливает по улицам в абсолютно прозрачном платье. Полагаю, это для вас не новость?

Рене. Нет.

Графиня. И вас не оскорбит бесцеремонный вопрос, какие не принято задавать в светских салонах? Обещайте, что вы отнесетесь к нему спокойно, как если бы я спрашивала вас о ваших виноградниках, удобрениях или о чем-нибудь в этом роде.

Рене. Обещаю.

Графиня. Я считаю, что господин маркиз – человек по сути своей бесконечно нежный, но эту свою нежность может выразить лишь посредством пресловутых конфеток и кнута, то есть посредством жестокости. (*Резким тоном.*) А каков он с вами – нежен или жесток?

Рене. Что, простите?

Баронесса. Графиня, как вы можете!

Графиня. Отвечайте же!

Рене. Если я отвечу, что нежен, вы решите: ага, это он прикрывает свою жестокость. Если же скажу, что он жесток...

Графиня. Я вижу, вы женщина умная.

Рене. Отвечу так. Вы хотите знать, каков мой муж? Он любит меня так, как подобает мужу любить жену. И если б вы оказались возле нашего ночного ложа, вы не увидели бы ничего такого, что дало бы повод к злым сплетням.

Графиня. Ну да? (*Изумленно разглядывает маркизу де Сад.*) Прелестно! Столь образцовой семейной паре, очевидно, и нежность ни к чему.

Рене. Равно как и жестокость.

Баронесса. Пойдемте, графиня, нам пора.

Графиня. Да. Прощайте, сударыни.

Г-жа де Монтрёй. Спасибо за визит. И еще раз от всего сердца благодарю.

Баронесса и графиня уходят.

Рене. Уф!

Г-жа де Монтрёй. Ты замечательно ее срезала. Превосходный ответ! Я так горда тобой... Подлая тварь! Подумать только – и эту змею я должна молить о помощи.

Рене. Не стоит, матушка, из-за этого расстраиваться. По сравнению с прочими нашими бедами это такой пустяк... Так, значит, они обещали помочь Альфонсу? Они помогут?

Г-жа де Монтрёй. Сказали, что помогут.

Рене. Слава богу. Уже ради одного этого стоило мчаться в Париж... Бедный, бедный Альфонс!

Г-жа де Монтрёй. Так ты приехала сюда не для того, чтобы повидаться со мной?.. *(Как бы между прочим.)* Ты не знаешь, где сейчас Альфонс?

Рене *(с невинным видом)*. Сама теряюсь в догадках.

Г-жа де Монтрёй. В самом деле? Что же, он даже собственной жене не сообщил, куда намерен отправиться?

Рене. Если бы я знала, где он, мне было бы трудно утаить правду от тех, кто его разыскивает. Лучше уж не знать. Так безопаснее для Альфонса. А его безопасность мне дороже всего на свете.

Г-жа де Монтрёй. Ты – образец добродетельной супруги. Каким чудесным цветком расцвели воспитание и образование, которые я тебе дала. Если б только твой избранник был тебя достоин...

Рене. Разве не вы учили меня когда-то: «Добродетель неподвластна обстоятельствам»?

Г-жа де Монтрёй. Так-то так, но всему есть мера.

Рене. Если грехи мужа превышают эту меру, то и моя добродетель должна быть на высоте.

Г-жа де Монтрёй. У меня разрывается сердце, когда я вижу, как мужественно ты держишься под ударами судьбы. Я вспоминаю, каким счастливым и безмятежным было твое детство, – контраст слишком разителен. Твой отец, всеми почитаемый президент налоговой палаты! Пусть наш род не слишком древний, но зато мы были богаты – не то что маркизы де Сад. Мы с отцом ничего для тебя не жалели, и ты выросла прекрасной, благородной – такую впору выдавать за принца. Кто имел бы больше прав рассчитывать на жизнь, полную счастья? И что же! Где были мои глаза? Боже, какой кошмарный выбор мы сделали! Подобно Прозерпине, собиравшей цветы и похищенной владыкой ада, ты оказалась ввергнута в преисподнюю. И твой покойный батюшка, и я прожили свою жизнь честно, не стыдно было смотреть людям в глаза. За что же, за что наша невинная дочь низвергнута в пучину такого несчастья?!

Рене. Что вы, матушка, все о несчастье да о несчастье. Терпеть не могу это слово. Несчастливая – это прокаженная старуха, выпрашивающая милостыню...

Г-жа де Монтрёй. Ох, я всегда делаю так, как хочешь ты. Это ты упросила меня спасти твоего муженька. Потому-то я и пошла сегодня на такое унижение... И все-таки, все-таки... Да, раз уж ты столь неожиданно приехала ко мне, я скажу то, что думаю. Бог с ним, с королевским двором и с высокими связями. Послушай меня, расстанься с Альфонсом.

Рене. Господь не позволяет расторгать браки.

Г-жа де Монтрёй. Расторгать не обязательно, достаточно просто порвать с Альфонсом все отношения. И очень хорошо, что Господь не одобряет разводов, – ты можешь жить отдельно от своего супруга и при этом оставаться маркизой.

Рене *(после паузы)*. Нет, матушка, я не расстанусь с Альфонсом – ни перед Богом, ни перед людьми.

Г-жа де Монтрёй. Но почему? Откуда такое упрямство? Что это – оскорбленное самолюбие? Боязнь пересудов?.. Ну не любовь же, в самом деле!

Рене. Не знаю, можно ли это назвать любовью. Но уж самолюбие и боязнь пересудов тут определенно ни при чем... Очень трудно объяснить так, чтобы вы поняли. Как вам известно, матушка, теперь я знаю все. Я знаю, какие страсти владеют Альфонсом, знаю, что он вытворяет, знаю, что говорят о нем люди. Я провела в Лакосте немало бессонных ночей, вспоминая свою жизнь после свадьбы. Я все теперь понимаю, матушка. Все. То, что прежде было рассеяно в памяти, соткалось в некий единый узор, связалось в одну цепочку. В ожерелье из ярко-алых камешков. Да, камешков красных, как кровь... Еще во время нашего свадебного путешествия, где-то в Нормандии, Альфонс велел остановить карету посреди луга, усыпанного лилиями. «Хочу напоить лилии допьяна», – сказал он и стал вливать в раскрытые бутоны красное вино. А потом смотрел, как багровые капли стекают между лепестками... Или еще. Мы впервые оказались в Лакосте и гуляли вдвоем по двору замка. Альфонс остановился возле сарая, где лежали вязанки дров, перетянутые веревками, и сказал: «Какое уродство! Представляешь, вот была бы красота – белоснежные березовые стволы, стянутые золотыми канатами!..» А один раз там же, в Лакосте, когда мы возвращались с охоты, Альфонс прямо пальцами вырвал у убитого зайца сердце из груди. «Взгляни, – засмеялся он, – вместилище любви у зайца той же формы, что у нас с тобой...» Я тогда воспринимала все это как милые, эксцентричные причуды. И лишь теперь бусины соединились в одну нить... В моей душе родилось всепоглощающее чувство, неподвластное рассудку. Чувство говорило: «Раз уж тебе удалось собрать в одно ожерелье рассыпанные в памяти бусины, береги теперь эту драгоценность, храни ее как зеницу ока». А что, если когда-то, давным-давно, так давно, что туда даже не проникают лучи памяти, я оборвала нить своего ожерелья и оно рассыпалось? Вдруг теперь я сумела восстановить его в первоизданном виде?

Г-жа де Монтрёй. Ты имеешь в виду рок, фатум?

Рене. Нет, рок здесь ни при чем.

Г-жа де Монтрёй. Но ведь эти самые алые бусы рассыпал Альфонс, а не ты.

Рене. Рассыпал и преподнес мне.

Г-жа де Монтрёй. Все это гордыня и самообман. Ты себя просто губишь!

Рене. Я же говорила, матушка, вы не поймете. А я наконец постигла самую суть, истину. И на этом знании зиждется моя добродетель. Можете ли вы понять, что говорит вам жена Альфонса де Сада?

Г-жа де Монтрёй. Истина – это кнут и сладкие пилюльки. Срам и бесчестие – вот в чем истина!

Рене. Голос житейской мудрости. Извечное пристрастие племени людей. Стоит прозойти чему-то необычному, как люди сразу слетаются со всех сторон, словно мухи на труп, и высасывают, высасывают из случившегося свою житейскую мудрость. Потом труп закопают, а у себя в тетрадочках запишут и обязательно пометят: это – срам, это – бесчестье и так далее. А мне до житейской мудрости дела нет. Я столкнулась с явлением, на которое табличку с надписью не повесишь. Проще простого было бы решить для себя: мой муж – чудовище, – и дело с концом. Он – чудовище, а я – честная, достойная, безупречная.

Г-жа де Монтрёй. Но ведь Альфонс и в самом деле чудовище! Разве нормальному человеческому существу возможно понять его поступки? Лучше и не пытаться – а то как бы самой не обжечься.

Рене. Так не бывает, чтобы один из супругов был чудовищем, а другой – обыкновенным, нормальным человеком.

Г-жа де Монтрёй. Рене! Уж не хочешь ли ты сказать...

Рене. Не пугайтесь, матушка, не пугайтесь. Или в вас говорит любопытство, как в графине Сан-Фон? Я всего лишь хочу сказать, что раз мой муж – чудовище порока, то мне ничего

не остается, как быть чудовищем добродетели. То, с чем я столкнулась, не имеет имени и названия. Все вокруг говорят, что Альфонс – преступник. А я знаю: Альфонс и его грехи – это одно целое. Улыбка маркиза и его ярость, нежность и жестокость, ласковое прикосновение пальцев к моим плечам, когда он снимает с меня пеньюар, и рука, хлещущая кнутом марсельских шлюх, – тут одно от другого не оторвать. И красная от крови, поротая задница Альфонса неотделима от его холеных локонов и благородного очертания губ.

Г-жа де Монтрёй. Как ты можешь соединять высокое и низкое, благородное и мерзкое?! Ты сама себя унижаешь! Женщина рода де Монтрёй никогда, никогда и ни в чем не может быть поставлена рядом с марсельской девицей сомнительного поведения! Так что нечего подыскивать оправдания своему муженьку – мне, матери, больно это слышать.

Рене. Вы так ничего и не поняли, матушка. А ведь мы должны мыслить и чувствовать одинаково, если хотим спасти Альфонса. Ну как же вы не видите! Альфонс – это симфония, в которой есть только одна тема – главная и единственная. Я поклялась хранить верность мужу, а стало быть – и звучащей в нем музыке. Иногда тема нежна и мелодична, иногда – яростна и жестока, в ней слышен свист кнута, в ней брызжет кровь. Мне Альфонс не исполнял той, второй части – уж не знаю, из уважения или из пренебрежения. Но я теперь очень хорошо понимаю главное: если хочешь быть верной женой, надо любить не добрые слова и дела мужа, а истинную его природу. Обшивка корабля, плывущего по океану, приемлет и пожирающего ее древесного червя, и чистую морскую воду.

Г-жа де Монтрёй. Но мы обе с тобой обманулись – он прикидывался не таким, каков есть.

Рене. Матушка, не родилась еще такая женщина, которую мог бы обмануть мужчина.

Г-жа де Монтрёй. Да уж слишком твой мужчина не похож на остальных.

Рене. И все-таки – мужчина. Уж поверьте мне... Но вы правы, выходя замуж, я совсем еще его не знала. И узнала, что он такое на самом деле, совсем недавно. Однако не могу сказать, что мне открылся чужой, незнакомый облик, – все равно это мой Альфонс. Ведь не выросли же у него, в конце концов, рога и хвост! А может быть, я потому и полюбила его когда-то, что угадывала зловещую тень, спрятанную за веселой улыбкой и ясным взором? Невозможно любить розу и одновременно ненавидеть ее запах.

Г-жа де Монтрёй. Глупости. Просто роза имеет запах, соответствующий ее виду.

Рене. Откуда вы знаете, быть может, страсть к крови, одолевающая Альфонса, досталась ему от далекого предка, ходившего в Крестовый поход?

Г-жа де Монтрёй. Не забывай: кровь, о которой ты говоришь, – это кровь... низких женщин.

Рене. Ах, матушка, кровь есть кровь – природу не обманешь.

Г-жа де Монтрёй. Ей-богу, такое чувство, словно это Альфонс со мной разговаривает, а не ты!

Рене. Умоляю, матушка, спасите его! Ради бога! Если бы только Альфонса помиловали! Клянусь, я бы все сделала, чтобы достучаться до его сердца, до его сумрачной, истерзанной души! Я смогла бы это сделать – и сплетням пришел бы конец. Их вытеснили бы вести о добрых делах маркиза, он искупил бы свою вину перед людьми! О-о, только бы спасти его, только бы спасти!.. *(В полубоморочном состоянии. Покачнулась.)*

Г-жа де Монтрёй *(поддерживает ее)*. Бедняжка, ты совсем выбилась из сил. Пойди приляг. Отдохнешь часок, сердце и успокоится. Может, что-нибудь и придумаем. Ну же, пойдем. Я отведу тебя. *(Уводит маркизу в спальню.)*

Из другой двери появляется младшая сестра маркизы де Сад, Анна де Лонэ, в сопровождении Шарлотты.

Шарлотта. Что же это вы с сестрицей не хотите повидаться?

Анна. Слишком неприятная может выйти беседа. Надо же, в кои-то веки выбралась в Париж с матушкой повидаться, а тут любимая сестрица откуда ни возьмись... Один ее взгляд чего стоит: мол, все-то я про вас про всех знаю, всех-то я вас насквозь вижу. И ведь в самом деле видит. Но великодушно снисходит к нашим слабостям. Брр! Боюсь ее!

Шарлотта. Ай-ай-ай, как же можно о родной сестре так-то говорить?

Анна. Поди, Шарлотта, шепни матушке, что я здесь и жду ее.

Шарлотта уходит.

Почти сразу же появляется госпожа де Монтрёй.

Г-жа де Монтрёй. Анна! Радость какая!

Анна. Здравствуйте, матушка. Как давно я вас не видела.

Обнимаются.

Г-жа де Монтрёй. Счастливый день! Обе мои доченьки приехали.

Анна. Да, Шарлотта мне сказала. Значит, Рене здесь?

Г-жа де Монтрёй. Она в спальне. Устала с дороги. Пусть немножко отдохнет, так будет лучше. Она столько вынесла, столько вынесла... Ну ладно. Ты-то как доехала? Откуда ты?

Анна. Из Италии.

Г-жа де Монтрёй. Где была?

Анна. Бо́льшую часть времени в Венеции.

Г-жа де Монтрёй. Далеко же тебя занесло.

Анна. Путешествие было такого рода, когда лучше держаться подальше от знакомых мест.

Г-жа де Монтрёй. С чего моей дочери от людей прятаться? Ты ведь у меня сама невинность.

Анна. Не мне надо было прятаться. Моему спутнику.

Г-жа де Монтрёй. Какому еще спутнику? Ты ездила с кем-то из знакомых?

Анна. С зятем.

Г-жа де Монтрёй. С кем?!

Анна. С Альфонсом.

Г-жа де Монтрёй (*потрясена*). Но... Но ведь не все же время ты была с ним?

Анна. Всё.

Г-жа де Монтрёй. Боже, какая же ты...

Анна. О нет! Меня винить не надо. В самый первый мой приезд в Лакост в первую же ночь Альфонс пробрался в мою спальню. Я его не приманивала, нет. Но и не оттолкнула. Так это с тех пор и тянулось. А потом он говорит: «Я должен бежать. Поедешь со мной?» Ну я и поехала. Почти всю Италию исколесили.

Г-жа де Монтрёй. О-о, мне страшно! Это же Сатана! Дьявол! Ему мало было одной моей дочери, он добрался и до второй... (*Пытается собраться с мыслями.*) Несчастная Рене! Хранить верность этому чудовищу!.. Анна, обещай мне: Рене ни слова, это будет наша с тобой тайна. Поняла? Если только она узнает, если узнает! Она умрет. Просто умрет.

Анна. Что вы, матушка. Рене все знает.

Г-жа де Монтрёй. Знает?!

Анна. Да-да, она знает.

Г-жа де Монтрёй. Ничего не понимаю! Про что знает?

Анна. Про то, что у меня было с Альфонсом в Лакосте...

Г-жа де Монтрёй. Рене? Не может быть!

Анна. Про то, что мы ездили в Италию. И где Альфонс прячется сейчас, она тоже знает. Г-жа де Монтрёй. Ах вот, значит, как? Знает – а от меня скрывает. Боже, какая... (*Замолкает и, что-то решив, продолжает.*) Послушай, Анна, ты, верно, тоже знаешь, где Альфонс.

Анна. Конечно.

Г-жа де Монтрёй. Где же?

Анна. В Сардинском королевстве, в Шанбери. Он прячется в простом крестьянском доме, подальше от людных мест.

Г-жа де Монтрёй. Как называется это место?

Анна. Шанбери.

Г-жа де Монтрёй сосредоточенно размышляет.

Г-жа де Монтрёй (*порывисто*). Шарлотта! Эй, Шарлотта!

Входит Шарлотта.

Я намерена написать три письма. А ты немедленно их отправишь.

Шарлотта. Как прикажете, мадам. (*Хочет уйти.*)

Г-жа де Монтрёй. Нет, не уходи, жди здесь. Нельзя терять ни минуты.

Шарлотта остается на сцене. Г-жа де Монтрёй садится к секретеру, раскрывает его и быстро пишет одно за другим три коротких письма, запечатывает их. Тем временем Анна и Шарлотта разговаривают.

Шарлотта. Барышня, поди, хороша Венеция летом?

Анна. Восхитительна. (*Мечтательно.*) Ощущение опасности, нежность, дыхание смерти, грязные каналы... Вода поднялась, и к площади Святого Марка не пройти...

Шарлотта. Хоть одним глазком бы взглянуть.

Анна. По ночам звенели шпаги, а утром маленькие мостики были покрыты росой и пятнами засохшей крови. И мириады голубей, все небо в голубях... Когда тихо, вся площадь Святого Марка белым-бела от копошащихся птиц, а потом вдруг испугаются чего-нибудь – и разом взлетают, оглушительно полоща крыльями... И повсюду жгли его чучела.

Шарлотта. Чьи, барышня, чучела?

Анна. Перезвон колоколов, плывущий над мутной водой. Всюду мосты, мосты – их не меньше, чем голубей... А ночью такая луна! Она выныривала прямо из канала и заливала алым сиянием нашу постель. Казалось, сразу сотня девственниц утратила невинность. По меньшей мере сотня...

Шарлотта. И гондольеры, наверно, распевали свои песни, да? Вот красотища-то!

Анна. Гондольеры? Распевали?.. А, ну это другая Венеция, для обыкновенных людей.

Г-жа де Монтрёй (*поднимается, держа в руках три запечатанных конверта*). Шарлотта!

Шарлотта. Слушаю, мадам.

Г-жа де Монтрёй. Это – графине де Сан-Фон, это – баронессе де Симиан. Если не застанешь, вели слугам передать: я отменяю свою просьбу и прошу как можно быстрее известить об этом их госпожу. Ты поняла? (*Передает два письма.*)

Шарлотта. Да, мадам. (*Уходит.*)

Г-жа де Монтрёй. Ну а как быть с письмом его величеству? (*Смотрит на конверт.*) Ладно, отвезу его во дворец сама.

Занавес

Действие второе

Сентябрь 1778 года. Прошло шесть лет.

На сцену одновременно выходят Рене и Анна.

Рене. Анна, ты?!

Анна. Рене, у меня хорошая новость!

Рене. Но откуда ты? И так внезапно.

Анна (*высоко поднимает свиток, перевязанный лентой*). Ну-ка, угадай, что это.

Рене. Не нужно меня дразнить.

Анна. Вот, вот, вот!

Рене. Перестань.

Сестры, обе в пышных кринолинах, мечутся по сцене: Анна убегает, Рене догоняет. Наконец свиток в руках у маркизы.

Ну, что это? (*Очень спокойно, не спеша читает.*) «Решение судебной палаты города Экс-ан-Прованс. В месяце мае сего года нами был получен королевский эдикт, скрепленный золотой печатью, коим предписывалось произвести повторное разбирательство дела Донасьена Альфонса Франсуа маркиза де Сада. Следуя воле его величества, мы признали приговор, вынесенный в 1772 году, недействительным и провели новое слушание, в результате которого по делу вышеозначенного маркиза де Сада вынесен следующий приговор. Подсудимый Донасьен Альфонс Франсуа де Сад, уличенный в распутстве и подрыве нравственности, получает строжайшее предупреждение и подвергается штрафу в размере пятидесяти ливров, а также лишается права въезда в город Марсель сроком на три года. Немедленно по уплате штрафа имя маркиза де Сада из тюремных списков исключить». О боже... (*Застывает в оцепенении, сама не своя от счастья.*)

Анна. Ну, как новость, сестрица?

Рене. Это как сон...

Анна. Наоборот, сон закончился – кошмарный сон.

Рене. Альфонс свободен. И я... Шесть лет!.. Помнишь, как шесть лет назад, осенью, здесь же, в этом самом доме, мы все ломали голову, не зная, как его спасти? Это было вскоре после той ужасной марсельской истории. Ты только-только вернулась из Италии, куда ездила утешить бедного Альфонса.

Анна. «Утешить»? Почему бы не назвать вещи своими именами? Ведь дело-то давнее.

Рене. Давнее... Шесть лет я жила только одним – как вернуть мужу свободу. Сколько переменилось за эти годы! Шесть лет я колотила в запертую каменную дверь – в кровь разбила руки, обломала ногти, и все впустую!

Анна. Ты делала все, что могла.

Рене. Нет, мне одной было бы не справиться. Это матушка заперла дверь между Альфонсом и мной. Только матушке было под силу ее и открыть.

Анна. Рада, что ты это понимаешь.

Рене. Потому ты и видишь меня в этом доме. Раньше, когда я считала мать своим врагом, я всегда, приезжая в Париж, останавливалась в гостинице.

Анна. Значит, теперь между нами тремя нет больше зла?

Рене. Ты стала совсем взрослой. А я... я уже немолода.

Анна. Сейчас, когда твое лицо светится счастьем, ты красивее и моложе, чем шесть лет назад.

Рене. Я поняла одну вещь: счастье – оно как крупички золотого песка в грязи. И в самом мрачном углу преисподней можно увидеть его сияние. Что для меня счастье? Все вокруг уверены, что женщины несчастнее меня не сыскать на всем белом свете. Унижена собственным мужем, который к тому же еще и в тюрьме. Опозорена гадкими сплетнями. Была б еще хоть богата – а то ведь и замок содержать не на что. Зимой нет денег на дрова, беру с собой в постель жаровню, чтоб не зачоченеть. Но зато сколько радости принесла мне эта весна! На лугах вокруг Лакоста зазеленела трава, в высокие окна моего ледяного замка хлынуло теплое солнце, пение птиц обрушилось на Лакост, словно грянул целый оркестр из сверкающих медных труб! И во мне родилась надежда, что час освобождения близок. Злодейство Альфонса и мое несчастье как бы слились в некое единое целое – они ведь и в самом деле так схожи! Разве нет? И злодейство, и несчастье подобны заразе – люди в ужасе шарахаются от них, боятся, как бы болезнь не перекинулась. Но зато нет для людей более лакомых тем для пересудов, чем эти две. Мое несчастье за шесть лет достигло вершин, которые не уступят злодейству Альфонса. Я много думала об этом. Я одна понимала, чувствовала всем своим существом, как беспредельно одинок он там, в темнице! Каких бы чудовищных деяний Альфонс ни творил, сколько бы женщин и мужчин ни втянул он в свои бесчинства, ему не достичь того, чего он жаждет, ибо жаждет он невыполнимого. Он всегда будет один. И он никогда никого не любил... Тебя тоже.

Анна. А тебя?

Рене. Наверное, нет. Потому-то мы, должно быть, всякий раз и миримся так быстро.

Анна. Ну да, а сама уверена, что только тебя он и любит.

Рене. Мечтать вольно всякому. Уж чему-чему, а полету фантазии у Альфонса я научилась.

Анна. А счастьем?

Рене. Счастье – мое собственное открытие. Ему Альфонс меня учить не пожелал. Счастье – ну как бы тебе сказать – это вроде вышивания гладью, дело кропотливое и трудоемкое. Сидишь одна-одинешенька, тебе горько, тоскливо, тревожно на душе, ночи беспросветны, зори кровавы, и ты все это медленно, тщательно вкладываешь в свой узор. И в результате выходит маленький гобелен, на котором всего лишь одна, самая что ни на есть обыкновенная, но – роза. Женские руки, женское терпение способны даже муки ада превратить в розовый бутон.

Анна. Понятно. Альфонс сварит из лепестков твоей розы варенье и будет мазать им себе булочку на завтрак.

Рене. Ты все ехидничаешь.

Входит г-жа де Монтрёй.

Г-жа де Монтрёй. Рене! Какая радость-то! Ну, поздравляю. Я нарочно Анну вперед послала, пусть, думаю, покажет тебе бумагу, пусть порадует.

Рене. Спасибо, матушка. Я всем обязана только вам. *(Опускается на колени и целует подол материнского платья.)*

Г-жа де Монтрёй в замешательстве смотрит на младшую дочь.

Г-жа де Монтрёй *(поднимая Рене на ноги)*. Ну к чему этот театр? Я долго была глуха к твоим мольбам, но твоя преданность способна растопить даже лед. Ты склонила меня на свою сторону – а разве могло быть иначе? Я же твоя мать! Ну вот, теперь все у нас снова будет хорошо... А признайся, ведь ты ненавидела свою бедную матушку?

Рене. Не надо, прошу! Не то я сгорю от стыда. Теперь все разрешилось. Он, верно, сразу же захочет уехать в Лакост. Мне нужно скорее готовиться к отъезду...

Г-жа де Монтрёй *(быстро переглядывается с Анной)*. Зачем такая спешка?

Анна. Пусть Альфонс немного потомится в одиночестве. Уж это-то он заслужил.

Г-жа де Монтрёй. Побудь хоть денек. В кои-то веки собрались втроем. Столько всего вынесли – неужели нам и поговорить не о чем? Всякое ведь было – теперь и посмеяться не грех. Как тогда-то, помнишь? Ну, весной, когда ты устроила Альфонсу побег? Мне как сказали – я просто дар речи потеряла.

Рене. Я в самом деле ненавидела вас, матушка, всей душой. Мне казалось – никто, кроме меня, не спасет Альфонса.

Г-жа де Монтрёй. Честно говоря, та история заставила меня взглянуть на тебя по-новому. Я всегда думала, что ты тихая, беспомощная, а тут вдруг поняла: нет, она – моя дочь! Это надо же все так рассчитать, подготовить! Сколько решительности, мужества! Однако должна тебе заметить, Рене: зло можно исправить лишь с помощью справедливости и закона. Так всегда говорил твой отец, это повторю тебе и я. Видишь, как славно я все устроила. А ведь я вела себя не так, как мамочка твоего Альфонса, – та все с Богом на устах, да с молитвой, да в монастырь, подальше от греха, а сама хоть бы один бриллиантик ради сына продала! Так и преставилась.

Анна. И тем не менее Альфонс был безутешен, когда она умерла.

Рене. Он оставил свое убежище, понесся в Париж на похороны, там его и схватили.

Г-жа де Монтрёй. Точно так же он убивался, когда умер его отец. Такую устроил истерику, что, помню, я и то расчувствовалась.

Рене. А обо мне он стал бы плакать?

Г-жа де Монтрёй. Ты же ему не мать... Хотя за эти годы, что он просидел в тюрьме, ты, должно быть, стала для него вроде матери.

Анна. Уж я-то никогда не вела себя с ним как с сыночком.

Рене. Да и я превратилась в мать собственного мужа не по своей воле.

Г-жа де Монтрёй. Девочки, девочки, что за тон, что за пренебрежение к званию матери? Вы забываете, что я тоже мать!.. Впрочем, вы можете говорить все что угодно, но знайте: я никогда не прощу человека, растоптавшего жизнь обеих моих дочерей, которых я растила с такой заботой и любовью. Надеюсь, Рене, ты это понимаешь...

Рене. Он вовсе не растоптал мою жизнь.

Анна. А мою и подавно.

Г-жа де Монтрёй (*неприятно удивлена, но пытается это скрыть*). Вот как? Любопытно. Значит, не растоптал?

Рене. Осквернение, надругательство – это тот хворост, который разжигает в Альфонсе костер желаний... Знаете, как морозным утром весело бежит лошадь, разбивая копытами хрустальную корку льда? Так и Альфонс: когда под действием ночной стужи скопившаяся на земле грязная вода превращается в прозрачно-чистые льдинки, он давит их, вновь обращая в грязное крошево. О, это целое церемониальное действие! Поначалу шлюха или нищенка предстает перед Альфонсом кристально чистой, святой. И он самозабвенно хлещет ее кнутом – все, лед раздавлен. Потом, правда, наступает пробуждение, и Альфонс пинком выставляет своих подружек за дверь... Минуты испытанного блаженства наполняют душу Альфонса несказанной нежностью – она копится в нем, как нектар в пчеле. И всю эту нежность он изливает на меня, когда рано или поздно возвращается домой, – ведь больше не на кого. Сладкий нектар нежности, собранной им в поте лица, под палящими лучами жгучего летнего солнца, весь достается мне – измученной ожиданием в темном и холодном улье. Да, Альфонс – это пчела, приносящая блаженный нектар. А цветы, из которых высасывает он свою кроваво-красную пыльцу, – для него они ничто. Сначала Альфонс уподобляет их божеству, затем растаптывает, насыщается – только и всего. Это их жизнь он топчет, не мою.

Анна. До чего же ты, сестрица, обожаешь все приукрашивать. Как у тебя выходит поэтично, да вдобавок еще и логично – прямо красота. Ну и правильно – вещи крайне низменные, как, впрочем, и чрезмерно возвышенные, только и можно уразуметь при помощи поэзии.

Правда, это как-то не по-женски. Я, например, никогда и не пыталась понять, что такое Альфонс. Вот почему ему всегда было со мной хорошо и спокойно – он чувствовал себя просто мужчиной. И я, когда он ласкал меня, была просто женщиной.

Рене. Ну что же, откровенность за откровенность: знаешь, Анна, ведь я попросту воспользовалась тобой. Иногда Альфонс испытывал потребность ощутить себя обыкновенным мужчиной. Со мной притворяться было бесполезно – уж я-то знала, какой он обыкновенный. Вот я и подтолкнула его к тебе.

Анна. Все очень складно, только жаль, милая сестренка, что ты не видела нас в Венеции. Какая кровавая, похожая на вырванную печень луна светила сквозь туман над каналом! С мостика под окном доносился звон мандолины и звучный голос певца. Наша смятая постель стояла возле самого подоконника и была похожа на берег, покрытый белым песком и водорослями, – так пахло влагой и морем. Альфонс не говорил со мной о крови, но я видела кровь в его глазах, она-то и была источником нашей сладостной неги...

Г-жа де Монтрёй. Что вы такое обе несете! Немедленно перестаньте! Да и какой смысл ссориться из-за событий шестилетней давности? Вспомните лучше, какая у нас сегодня радость. Я постараюсь не думать об Альфонсе плохо. Его злодейство – дело прошлое. Давайте поговорим о хороших его чертах. Я слышала – не знаю, верить или нет, – будто Альфонс обратился к религии?

Рене. Иногда, читая его письма, я чувствовала, что искра веры, стремление к Богу тлеет в его душе.

Г-жа де Монтрёй. Ну да, а в следующем письме он, наверно, писал, что намерен наложить на себя руки, а чуть позднее – крыл последними словами меня, подлую скрягу. Можешь не рассказывать, я и сама знаю. Очевидно, в этом-то и состоит прелесть твоего мужа: он не способен долго пылать одной страстью. Заглянет в окошко преисподней, отшатнется – понесется к небесам, да по дороге завернет на кухню и затеет какую-нибудь грубую перебранку. К тому же у него вечно в голове грандиозные планы, мнит себя великим писателем. Подумать страшно – что он может понаписать. Меня, конечно, выведет злой ведьмой, а себя – владыкой ада. Только вряд ли кто станет читать его опусы.

Рене. Альфонс и в самом деле человек увлекающийся, но чувство признательности ему не чуждо. Когда муж узнает, что это вы его спасли, он будет вам беспрдельно благодарен.

Г-жа де Монтрёй. Ну-ну, хотелось бы верить.

Входит Шарлотта.

Шарлотта. Графиня де Сан-Фон пожаловали. Говорит, гуляла и решила заглянуть.

Г-жа де Монтрёй. Вот как? *(В нерешительности.)* Ладно, и так все про нас знает... Зови.

Шарлотта. Слушаюсь. *(Удаляется. В дверях сталкивается с графиней де Сан-Фон.)*

Графиня. А я и сама вошла. Ничего? Ведь не через окно же и не верхом на помеле.

Г-жа де Монтрёй. Скажете тоже! *(Крестится.)*

Графиня. Можете не креститься, все равно на баронессу де Симиан вы не похожи. У вас это выглядит так, будто крестное знамение вы сотворяете не для себя, а для соблюдения приличий.

Г-жа де Монтрёй. Это вы так считаете.

Графиня. Знаете, я ведь не просто так зашла – хочу кое-что рассказать. Вчера ночью я проделала то же самое, что во времена «короля-солнце» мадам де Монтеспан.

Г-жа де Монтрёй. Стали возлюбленной его величества? Но ведь нынешний король по женской части, кажется...

Графиня. Нет-нет, не перебивайте. Я расскажу все сама, по порядку. Именно такая чудесная слушательница мне и нужна. Господу де Симиан слишком легко напугать, а вы – дама закаленная, мужественная, испытанный боец армии добродетели.

Г-жа де Монтрёй. О, графиня, вы слишком добры.

Графиня. Признаться вам, мне до смерти наскучили все обычные забавы – любовные интрижки, безобразия, карнавалы масок а-ля королева Марго и тайные прогулки по парижским трущобам. Даже собственная скандальная слава и та обрыдла. Все грехи начинались спальней, ею же и заканчивались. А любовь... любовь – это мед, в котором слишком силен привкус пепла. Не хватало чего-то возвышенного, божественного...

Г-жа де Монтрёй. Неужто вы встали на путь благочестия?

Графиня. О нет, не пугайтесь... Когда в наслаждениях преобладает привкус горечи, вспоминаешь, как тебя, бывало, наказывали в детстве. И хочется, чтобы кто-то снова тебя наказал. Начинаешь оскорблять невидимого нашего Господа: плюешь ему в физиономию, бросаешь вызов – одним словом, стараешься разозлить. Но боженька как ленивый пес – дрыхнет дни и ночи напролет. Его дергаешь за хвост, тащишь за уши, а он и глаз не раскрывает – не то чтоб цапнуть или облаять.

Г-жа де Монтрёй. Я не очень поняла... Это вы Господа ленивому псу уподобили?

Графиня. Ну да. Ленивому, старому и дряхлому.

Г-жа де Монтрёй. Слава богу, что мои девочки уже взрослые. Для юной, неокрепшей души это было бы слишком...

Графиня. Да погодите же, самое интересное впереди. Я здорово ошиблась в маркизе де Саде. Он представлялся мне идеальным суррогатом карающего Господа – восхитительным злотокудрым палачом с кнутом в белоснежной руке. Ошибка, это была ошибка. Маркиз – всего лишь мой товарищ, он сделан из того же теста, что и я. Когда ленивый пес дрыхнет, ему едины машущий кнутом и получающий удары, палач и жертва. И тот и другой тщетно бросают ему вызов. Первый – тем, что бьет, пускает кровь, второй – тем, что сносит удары и эту кровь проливает... Псу наплевать, он знай себе посапывает. Мы с маркизом – одного поля ягоды.

Г-жа де Монтрёй. И как же вы додумались до подобного открытия?

Графиня. Не додумалась. Просто почувствовала.

Г-жа де Монтрёй. Когда же?

Графиня. Когда почувствовала? В тот самый миг, когда меня сделали столом.

Г-жа де Монтрёй. То есть как «сделали столом»?

Сестры перешептываются.

Графиня. Вы полагаете, что человека превратить в стол невозможно? Так вот, представьте себе: меня, раздетую, уложили на стол, и мое обнаженное тело превратилось в алтарь для черной мессы.

Слушательницы ахают. Рене вздрагивает, и по мере рассказа графини ее волнение становится все заметнее.

Ни где это произошло, ни кто там был, я вам, разумеется, не скажу. Мсье Гибур давно мертв, а я, конечно, лишь жалкое подобие госпожи де Монтеспан. И все же, как и она, я сама предложила использовать мое тело для мессы. Меня, обнаженную, такую белую-белую, положили навзничь на черное, траурное полотнище. Я лежала, закрыв глаза, и представляла, как ослепительно прекрасна моя нагота. Обычной женщине не дано знать, что это такое – видеть все не глазами, а открытой кожей. Мои груди и живот прикрыли маленькими салфетками. Ну, это ощущение вам знакомо – вспомните холодную накрахмаленную простыню. А в ложбинку между грудей мне положили серебряное распятие. Однажды озорной любовник, когда мы отдыхали после утех, положил мне на грудь холодную грушу – примерно такое же было чув-

ство. На лоно мне поставили священную серебряную чашу. Это, пожалуй, несколько напоминало прикосновение ночной посуды из севрского фарфора... Вообще-то, все эти глупости не вызвали во мне такого уж святотатственного восторга, когда, знаете, вся дрожишь от наслаждения. Потом началась служба, мне сунули в каждую руку по горящей свече. Пламя было где-то далеко-далеко, я почти не чувствовала, как капает воск. Во времена Людовика Четырнадцатого на черной мессе, говорят, приносили в жертву настоящего младенца. Но теперь времена не те, да и месса уже не та. Пришлось довольствоваться ягненком. Священник пропел Христово имя, ягненок жалобно заблеял где-то у меня над головой, потом вдруг вскрикнул так, знаете, тонко и странно – и тут на меня хлынула кровь. Она была обильнее и горячее, чем пот самого страстного из любовников, она заливала мне грудь, стекала по животу, наполняла чашу, что стояла на моем лоне... До этого я пребывала в довольно игривом расположении духа, испытывала обыкновенное любопытство – не больше, но здесь мою холодную душу впервые пронзила неистовая, обжигающая радость. До меня наконец дошел смысл всей этой тайной церемонии: и кошунственность моей позы – с широко, крестом, раскинутыми руками, и дрожащий огонь свечей, истекающих горячим воском, – они символизировали гвозди распятия... Я рассказываю вам все это не для того, чтобы побахвалиться. Главное, чтобы вы поняли: я стала зеркальным отражением Альфонса, разделила трепет его души. Правда, Альфонс предпочитает смотреть, а здесь смотрели на меня, так что ощущения наши несхожи. Однако, когда на мое голое тело пролился кровавый дождь, я поняла, кто такой Альфонс.

Рене. Кто же он?!

Графиня. Он – это я.

Г-жа де Монтрёй. Да?

Графиня. Да, в тот миг он был мной. Окровавленным столом из живой плоти, чьи глаза стали незрячи, а из рук и ног ушла сила. Трехмесячным зародышем, выкидышем Господа Бога... Маркиз становится самим собой, только когда вырывается из своего «я», он превращается в выкидыш, залитый кровью выкидыш Небесного Отца. И все, кто окружает его в эту минуту, – женщины, которых истязает он, женщины, хлещущие его, – они, они становятся Альфонсом, а он им быть перестает. Тот, кого вы зовете Альфонсом, – тень, мираж, его просто не существует.

Г-жа де Монтрёй. Вы хотите сказать, что на самом Альфонсе греха нет?

Графиня. Да, на вашем языке это называется именно так.

Анна (*внезапно рассмеявшись*). Смотрите-ка, вердикт мадам де Сан-Фон совпал с приговором блюстителей нравственности из судебной палаты.

Рене (*порывисто*). Нет на нем никакого греха! Он невинен! Белее белого! (*Показывает свиток.*) Вот, мадам, прочтите. Альфонс свободен – и все благодаря матушке.

Графиня. Да? Странно. Помнится, шесть лет назад, когда я собиралась вам помочь, ваша матушка ни с того ни с сего запретила мне что-либо предпринимать. С чего бы это вдруг она теперь стала хлопотать о вашем муже... Та-ак, а число?

Рене. Какое число?

Графиня. Ну, дата приговора.

Рене. Не знаю. Я была так рада, что забыла посмотреть.

Г-жа де Монтрёй и Анна пятятся вглубь комнаты.

Где же число?... А, вот! Совсем мелко, я и не заметила. Четырнадцатое июля 1778 года... То есть как «четырнадцатое июля»? Ведь сегодня уже первое сентября... Полтора месяца назад? А я ничего не знаю и все это время сижу в Париже! Как же так?! (*Пронзительным голосом.*) Анна! Что это значит? Почему нам отдали бумагу только сегодня?

Анна молчит.

Матушка, да что же это такое? Неужели вы целых полтора месяца скрывали от меня счастливую весть? Зачем?!

Г-жа де Монтрёй молчит.

Альфонс, должно быть, весь истомился, ожидая меня в Лакосте!.. Но... но... Почему он не написал? (*Охваченная внезапной тревогой.*) Я немедленно еду в Лакост.

Графиня. Бесполезно.

Рене. Это еще почему?

Г-жа де Монтрёй. Графиня!

Графиня. Полагаю, что маркиз уже снова в тюрьме. Только в другой. Ваша добрейшая матушка наверняка убедилась, что дело сделано, прежде чем сообщить вам о приговоре.

Рене. Что за глупости вы говорите! Альфонса освободили... Матушка, ну скажите же ей.

Г-жа де Монтрёй. Графиня просто шутит.

Графиня. Мадам, боюсь, что вам, добродетельнейшей из матрон, надолго запомнится сегодняшний день. Придется вам горько раскаиваться, что некогда вы связались со мной, падшей женщиной. Шесть лет назад вы хотели меня использовать. Вам понадобилась моя порочность. Потом вдруг передумали и отказались от моих услуг. О, у меня превосходная память! Я могла бы вам простить желание меня использовать, но то, что вы презрели мою помощь, простить никак не могу. Вы не представляете, как меня потом мучил тот сострадательный порыв, совершенно мне не свойственный. И в память о несостоявшемся благом деянии я еще раз выступлю в непривычном для себя качестве. Сейчас моими устами заговорит сама Истина – представляете? И все благодаря вам, дорогая госпожа де Монтрёй! Должно быть, ваша безупречная честность заразительна.

Г-жа де Монтрёй. Мадам! Вы, кажется, намерены совать свой нос в наши семейные дела?

Графиня. А разве не вы сами ткнули меня носом в ваши семейные тайны?

Рене. Мадам, ради бога, говорите! Вы принесли какую-то страшную весть, да?

Графиня. Бедняжка Рене. Альфонс попал в капкан, расставленный вашей мамочкой. А приговор судебной палаты города Экс был не более чем приманкой, чтобы птичка попалась уж наверняка.

Рене. Но почему?

Графиня. Вы знаете, моя информация всегда самая точная. Подробности стали мне известны не далее как вчера. Когда в прошлом году умерла мать Альфонса, госпожа де Монтрёй поспешила истребовать личный королевский эдикт на арест маркиза, сбежавшего с вашей помощью из тюрьмы и скрывавшегося в неизвестном месте. Ну, как Альфонса схватили, вам, должно быть, известно?

Рене. Почти ничего.

Г-жа де Монтрёй. Может быть, довольно, графиня?

Графиня (*г-же де Монтрёй*). Вы все сделали для того, чтобы в Эксе дело маркиза пересмотрели побыстрее, пока не истек срок королевского эдикта. Даже в случае оправдательного приговора суда Альфонса, освободив, немедленно арестовали бы по именному указу его величества. Так все и вышло: четырнадцатого июля суд освободил маркиза из-под стражи, но несчастного сразу же схватила королевская тайная полиция и вновь заперла в тот же Венсенский замок – только на сей раз в еще более темный, сырой и холодный каземат, даже сквозь решетку которого не видно воли. По дороге Альфонс было сбежал, но, как вам, мадам, известно, его благополучно поймали, и теперь вы можете быть совершенно спокойны. Зятек

сидит за двойной железной дверью, в каменном колодце, на окне – решетка. Теперь-то уж он не сбежит.

Пауза.

Анна (*поспешно поднимается*). Графиня, вы ведь, кажется, гуляли и заглянули сюда по дороге?

Графиня. Именно так.

Анна. Позвольте мне составить вам компанию. Прогуляемся дальше вместе.

Графиня. Охотно. Прогулка со столь очаровательным инструментом чужих замыслов доставит мне огромное удовольствие. В прежние времена вас использовала старшая сестра, теперь – мамочка. Пойдемте, Анна, пора попользоваться вами и мне.

Анна (*с деланой веселостью*). К вашим услугам, графиня. Готова быть столом, комодом – чем прикажете.

Графиня. Вот послушное дитя! Природа одарила вас прелестными крылышками, расправив которые вы всегда сможете упорхнуть от неприятностей. Пожалуй, это единственное ваше богатство. Сударыни. (*Кланяется г-же де Монтрёй и маркизе де Сад, после чего вдвоем с Анной идет к дверям.*) Шарлотта!

Выглядывает Шарлотта.

Вглядись-ка хорошенько в мое лицо. Вряд ли мне представится оказия когда-нибудь еще побывать в этом доме, так что отныне по самый гроб тебя будут окружать исключительно добродетельные и высоконравственные лики. Посмотри как следует и запомни это лицо грешницы.

Графиня, Анна и Шарлотта уходят.

Рене и г-жа де Монтрёй молча смотрят друг на друга.

Рене. Я хочу спросить только одно. К чему была вся эта комедия?

Г-жа де Монтрёй. Ну, комедию ломать начала не я. Помнишь, шесть лет назад, когда ты примчалась молить меня о помощи, ты ведь утаила от меня многое... Мерзость и распутство! Когда Анна открыла мне глаза, я, естественно, переменила свое решение. Написала прошение королю, и тот через посла в Сардинии потребовал выдачи Альфонса. Видишь, всему было причиной то, что ты затеяла играть со мной в прятки... А что касается теперешней истории, то, поверь, я устроила все для твоего же блага. Целых шесть лет мы были с тобой врагами – я прилагала все усилия, чтобы не выпустить Альфонса из тюрьмы, ты, наоборот, делала возможное и невозможное, чтобы вернуть ему свободу. Мать с дочерью враждовали между собой! А ведь я уже стара, силы оставляют меня, мне одиноко. Я тверда в своем решении держать беспутного зверя взаперти, но война с родной дочерью разрывает мне сердце. Ведь я заботилась только о твоём счастье.

Рене (*без выражения*). О моем счастье...

Г-жа де Монтрёй. Ты была вне себя от радости, когда я наконец стала добиваться пересмотра приговора. Прошлые обиды сразу забылись, мы с тобой снова зажили душа в душу, как в старые добрые времена. Я потому и скрывала от тебя так долго вердикт судебной палаты, что знала – твоя радость будет преждевременной. И Анне велела ничего не говорить. А когда утаивать истину стало уже невозможно, решила: дай хоть доставлю тебе несколько радостных минут. Ты сияла от счастья, а материнское сердце разрывалось от жалости и горя... Ну а клевете этой ведьмы графини де Сан-Фон ты не верь – она все перевернула с ног на голову.

Рене. Но это правда, что Альфонс снова в темном каземате?

Г-жа де Монтрёй. В общем...

Рене. И то, что засадили его туда вы?

Г-жа де Монтрёй. Что значит «засадила»? Я же не король.

Рене. Какая чудовищная жестокость!

Г-жа де Монтрёй. Если уж говорить начистоту, тут необходима была жестокость, чтобы у тебя наконец раскрылись глаза. Пойми же, я вынуждена была прибегнуть к этой уловке. Я надеялась, что ты избавишься от наваждения и выкинешь Альфонса из головы...

Рене. Это не в моих силах.

Г-жа де Монтрёй. Но почему, почему? Сколько же можно хранить верность этому чудовищу? Ведь он-то никогда тебе верен не был. Это в тюрьме он льет крокодиловы слезы, пишет жалостные письма, уверяет тебя в любви и клянется в верности. Но стоит ему выйти на свободу, и все начнется сызнова. Ты же не слепая!.. Откажись от него. Это единственный путь к твоему счастью.

Рене (*без выражения*). К моему счастью...

Г-жа де Монтрёй. Забуди его.

Рене. Это невозможно.

Г-жа де Монтрёй. О боже, почему?! И как ты могла, ты, дочь судьи, устроить преступнику побег из тюрьмы?

Рене. О-о, то было блаженное время! Никогда еще я не чувствовала, что моя душа настолько слита с душой томящегося в темнице Альфонса... Бессчетное количество раз подавала я прошения о помиловании – и все тщетно. Я сидела ночи напролет в пустом замке и думала только об одном – как устроить побег. И посоветоваться было не с кем, я – совсем одна! Это походило на шахматную партию: я двигала фигуры слоновой кости, пробуя комбинации одну за другой. И наконец слоновая кость наполнилась пламенем, стала краснее коралла – план был составлен! Разрабатывая детали, я чувствовала биение сердца Альфонса – где-то совсем рядом. И я поняла. Когда Альфонс замыслил новое бесчинство, стремясь в своих исследованиях порока как можно ближе подобраться к недостижимому, он испытывал нечто подобное. Нет, не нечто подобное, а именно то же! Не было в мире человека более одинокого, чем он, когда в его голове – втайне от всех – составлялся план очередного преступления. Это куда страшнее огня неразделенной любви – ведь надежды на взаимность нет, лишь стремление любыми средствами дорваться до неосуществимой мечты, воплотить ее на земле, в определенной точке времени и пространства. И заранее известно наверняка – в последний момент добыча ускользнет из рук... Я ощущала совершенно то же. Понимала – даже увенчайся затея успехом, меня ждет лишь опустошенность. Втайне строила я свои планы и знала, что они бессмысленнее, чем самая безнадежная из неразделенных любовей... Нет, на признательность Альфонса я не рассчитывала.

Г-жа де Монтрёй. Конечно, на что может рассчитывать человек, таящийся ото всех? Ничего удивительного. Каждый, кто разрывает сети праведности и законности, остается один-одинешенек. Так всегда говорил твой отец. Несчастный, ему и в голову не могло прийти, что такая участь ожидает его собственную дочь.

Рене. Между мной и Альфонсом установилась невидимая связь, разорвать которую было не под силу никому из смертных. Мы были связаны крепче, чем в минуты самых страстных объятий.

Г-жа де Монтрёй. Неужели ты станешь меня убеждать, что причина твоего упрямства – любовь? Это выше моего разума! Какая любовь – ведь он-то тебя не любит, ты губишь жизнь из-за пустой химеры! (*Язвительно.*) Рене, уж будем говорить начистоту: ведь твой муж – он даже и не человек вовсе.

Рене. Но все равно он – мой муж.

Г-жа де Монтрёй. Ага, о любви разговора уже нет, теперь твое убежище – супружеская добродетель.

Рене. И научили меня ей вы, матушка.

Г-жа де Монтрёй. Довольно странная, беспутная она какая-то, эта твоя добродетель. Отчего, интересно? Я давно заметила: любые, самые белоснежно-благородные слова, когда речь заходит об Альфонсе, становятся чернее угля. Чернее китайского лака!

Рене. И моя любовь?

Г-жа де Монтрёй. Да. Она тоже беспутна.

Пауза.

Рене. Что бы ни произошло, я последую за ним всюду, сколько хватит сил. Если вы хотели разлучить меня с мужем, не следовало запираť его в тюрьму – вы совершили ошибку. Я буду писать ему, ходить на свидания. Для него я – единственное человеческое существо на всем белом свете. Я – его надежда, и мы оба с ним знаем это.

Г-жа де Монтрёй. Может быть. Может быть, я и сделала ошибку. Но, знаешь, незаметно для нас обеих мы идем с тобой одной дорогой. И радости у нас с тобой одни и те же. Вот слушаю тебя и думаю: ты ведь тоже счастлива, что посадила Альфонса в клетку – клетку твоей любви. Теперь ты обрела душевное спокойствие. Он один, беспомощен, вся надежда только на тебя. Никаких мук ревности, а? Пусть теперь он поревнует, а? Представляешь, не в силах избавиться от навязчивых, душераздирающих видений, он напишет тебе ревнивое письмо? А ты будешь с наслаждением читать и перечитывать его, блаженно улыбаясь... Ну, будь же честной. Признай, что, хоть на устах твоих горечь, в глубине души ты мне благодарна. Мы обе с тобой хотели посадить его в клетку, и это роднит тебя и меня. Разве нет?

Рене. Нет! Ничего подобного!

Г-жа де Монтрёй. Нет? Даже несмотря на то, что стоит ему выйти на свободу, и он сразу же превратит твою жизнь в ад?

Рене. Пусть! Я хочу, чтобы он был свободен.

Г-жа де Монтрёй. Но для него свобода – кнут и бонбоньерка.

Рене. Это не важно. Матушка, умоляю, я буду валяться у вас в ногах – только помогите! Сделайте так, чтобы его освободили!

Г-жа де Монтрёй. Ничего не понимаю. Освободить? И расставаться с ним не желаешь? А сама знаешь, что ничего, кроме мук, он тебе не принесет. Тебе что, доставляет наслаждение терпеть муки?

Рене. Большей муки, чем нынешняя, все равно не бывает.

Г-жа де Монтрёй. Что ж, приходится тебе верить – ты знаешь, что такое мука. Значит, единственная твоя радость – его освобождение? В этом твое счастье?

Рене. Да! И радость, и счастье. Только об этом я и мечтаю.

Г-жа де Монтрёй (*пронзительным голосом*). Какое же оно, твое счастье?

Рене. То есть как?

Г-жа де Монтрёй. Какого оно сорта, какой природы?

Рене. Я не понимаю вас. Разве не должна добродетельная жена добиваться свободы для своего мужа? Разве можно вообразить себе большее счастье, чем...

Г-жа де Монтрёй. Хватит о добродетели! В твоих устах это святое слово становится мерзостным. Я хочу услышать, что для тебя счастье!

Рене. Ладно, если вам так хочется... Каждую ночь муж наполняет мой дом светом – и это счастье. Лежать зимой в холодной спальне замка одной, мерзнуть и представлять себе жарко натопленную комнату и в ней Альфонса, в этот самый миг подносящего пылающий сук к голой спине связанной женщины. Вот оно – мое счастье! Страшные, кровавые слухи, стелющиеся

как полы пурпурной королевской мантии... Идешь по улице городка и смотришь в землю – ты, супруга господина здешних мест! Вот какое это счастье. И еще – счастье бедности, счастье позора... Такое, матушка, счастье обрету я, добившись свободы для Альфонса.

Г-жа де Монтрёй. Ты лжешь. Все лжешь! Прежде чем обвинять мать, задумалась бы над тем, какая ты дочь! Ведь ты снова скрытничаешь, снова меня обманываешь! А мне известно все. Именно поэтому я и поклялась вырвать свою дочь из лап страшного чудовища, чего бы мне это ни стоило!

Рене. О чем вы?

Г-жа де Монтрёй. Боже, какой стыд! Даже Анне я не смогла об этом рассказать... Твоя хваленая добродетель – гнилой, изъеденный червями плод!

Рене. На что вы намекаете?

Г-жа де Монтрёй. Я скажу. Скажу... Верный человек, которого я послала в Лакост, подглядел в окно и все мне рассказал. Это было как раз на Рождество.

Рене. На Рождество?

Г-жа де Монтрёй. Где уж тебе вспомнить – у тебя, поди, таких ночей много было...

Рене. Рождество... После удачного побега Альфонс запутал следы и тайно приехал ко мне в Лакост. Это последнее Рождество, проведенное нами вместе. Была студеная зима, дул злой северный ветер. Чтобы купить дров, я заложила фамильное серебро... Тут уж не до праздников.

Г-жа де Монтрёй. Рождество у вас и в самом деле было странное. На дрова у вас, несчастных, не хватало – ай-ай-ай. Решили человечинкой топить... Бедные, нищие супруги, специально ездившие в Лион, чтобы нанять пять служанок, девчонок лет по пятнадцать, и еще юнца-секретаря... Видишь, даже это я знаю. А ведь я, дура, посылала тебе денег на расходы! Так вот, мой слуга спрятался у окна и, насквозь продуваемый ветром, стал подглядывать, каким поразительным образом справляете вы Рождество. На дрова ты и в самом деле не поскупилась – огонь в камине пылал так, что все деревья в саду стояли залитые багровым светом.

Рене. Матушка!

Г-жа де Монтрёй. Нет уж, ты выслушай... Альфонс, облаченный в черную мантию, но при этом обнажив свою белую грудь, хлестал кнутом пятерых девочек-служанок и подростка. Те были в чем мать родила и метались по зале, тщетно моля о пощаде. Длинный кнут мелькал в воздухе, словно стая ласточек над крышей старого замка. А ты...

Рене *(закрывает руками лицо)*. Нет!

Г-жа де Монтрёй. А ты, совершенно голая, была за руки подвешена к люстре. От боли ты почти потеряла сознание, по твоему телу, словно по стволу дерева под дождем, стекали струйки. Струйки крови, вспыхивавшие рубинами в отсветах каминного пламени. Угрожая мальчику кнутом, его сиятельство заставил несчастного облизывать испачканное тело ее сиятельства. Бедняжка был слишком мал ростом, и ему пришлось залезть на стул... Он вылизал тебя всю... *(Высовывает кончик языка.)* И не только там, где была кровь... *(Пауза.)* Рене! *(Делает шаг к дочери. Та отшатывается.)* Рене!

Еще один шаг. Рене пятится. Госпожа де Монтрёй хватается за край платья. Рене с силой вырывается. Госпожа де Монтрёй опускает руки.

Ну, довольно. Теперь я вижу, что все это было правдой, твое мертвенно-бледное лицо – лучшее тому доказательство.

Рене. Но, матушка...

Г-жа де Монтрёй. Какие еще тут могут быть «но»?

Рене. Это случилось только один раз, и против моей воли. Клянусь вам! Поступить так велела мне добродетель. Вам не дано это понять.

Г-жа де Монтрёй. Опять добродетель! А если он велит тебе ползать на брюхе по-собачьи, ты тоже подчинишься? Или превратиться в червя, а?! Где твоя женская гордость? (*Задыхается от рыданий.*) Разве так воспитывала я свою дочь?! Дьявол-муж отравил твою душу!

Рене. Когда обретаешься на самом дне позора, в сердце не остается места ни для сострадания, ни для нежности... Эти чувства живут в верхнем слое души, и, когда душа переворачивается вверх дном, грязь и мусор поднимаются наверх и замутняют, загрязняют прозрачный и чистый слой... Вы правы, матушка. Все, что вы говорили, – верно. Но только жалости к вам у меня нет. Ведь вы ровным счетом ничего не знаете, а стало быть, вреда вам никакого нет и не будет.

Г-жа де Монтрёй. Кто, я не знаю? Да мне известно все!

Рене. Нет, ничего вам не известно. Что можете вы знать о пути, которым идет женщина, решившая быть добродетельной до конца и отринувшая ради этой цели все общественные запреты и саму честь?

Г-жа де Монтрёй. Так говорят все женщины, ставшие жертвой мерзавцев.

Рене. Альфонс не мерзавец. Он – моя лестница к недостижимому, лестница, ведущая меня к Богу. И пускай эта лестница затоптана грязными ногами, даже забрызгана кровью!

Г-жа де Монтрёй. Опять эти твои витиеватые сравнения. Анна и та над ними смеется.

Рене. Об Альфонсе иначе говорить нельзя. Он – голубь, а не лев. Он – маленький белый цветок в златокудрой пыльце. И при этом не ядовитой, о нет! Когда этот голубь, этот цветок прибегает к кнуту, начинаешь себя, себя, а не его ощущать кровожадным зверем... Тогда, на Рождество, я приняла одно важное решение. Мне мало понимать Альфонса, мало быть его защитницей и опорой. Да, я вытащила его из тюрьмы и воображаю себя истинно добродетельной женой, но гордыня застит мне глаза – того, что я сделала, мало... Матушка, вот вы упрекаете меня за то, что я все твержу: добродетель, добродетель. Но это добродетель иного рода, страшнувшая ярмо привычного и общепринятого. После той страшной ночи с моей добродетели начисто слетела присущая ей прежде спесь.

Г-жа де Монтрёй. Это оттого, что ты стала соучастницей.

Рене. Да, соучастницей голубя, маленького белого цветка в златокудрой пыльце. Я поняла, что была прежде не женщиной, а зверем, имя которому Добродетель... Вы же, матушка, и поныне тот зверь.

Г-жа де Монтрёй. Такого о своей скромной персоне мне слышать еще не приходилось.

Рене. Нет? Ну так я вам повторю хоть тысячу раз. Вы – зверь Добродетели, своими клыками и когтями вы рвете Альфонса на куски.

Г-жа де Монтрёй. Ты, верно, шутишь! Это меня, меня рвут на куски. И мой мучитель – твой муженек с его белыми зубами и сверкающими когтями.

Рене. Нет у Альфонса никаких когтей! Лишь жалкие изобретения человеческого ума: кнут, нож, веревка да заржавленные орудия пыток. Для него все эти предметы – примерно то же, что для нас, женщин, белила, румяна, пудра, помада, духи, зеркальце. А у вас – клыки, дарованные самой природой. Ваши полные бедра, ваша высокая грудь, не увядшая, несмотря на возраст, – вот они, когти и клыки. Все ваше тело до кончиков ногтей покрыто острыми шипами добродетели. Каждого, кто приблизится к вам, вы пронзаете этими шипами, подминаете под себя, душите!

Г-жа де Монтрёй. Не забывай: эта самая грудь вскормила тебя!

Рене. Помню. Во мне течет ваша кровь, и тело мое устроено точно так же. Но груди мои из другого материала – они не скованы обетами и корсетом благонравия и общественных устоев. Батюшка, должно быть, обожал вашу грудь – ведь для такой четы благонравие было важнее, чем любовь.

Г-жа де Монтрёй. Не смей говорить гадости об отце!

Рене. Ах, я покусилась на ваши драгоценные воспоминания: как приятно думать, что и в постели с собственным мужем продолжаешь оставаться членом общества. Вместо того чтобы говорить о любви, вы, верно, восхищались собственной безупречностью. И были вполне довольны, да? А ведь в вас, матушка, была замочная скважина к той двери, что ведет к блаженству, а у него был ключ. Стоило только повернуть ключ в замке!

Г-жа де Монтрёй. Боже, какая мерзость!

Рене. Увы, ключ не подходил к замку. А вы еще и посмеивались: «Я не желаю быть этим изогнутым ржавым ключом. А я не желаю быть какой-то скважиной, жалостно скрипящей при повороте ключа». Вы всем телом – грудью, животом, бедрами, – как осьминог щупальцами, прилепились к благопристойности. Добродетель, благонравие и приличия вы клали с собой в постель, да еще урчали при этом от удовольствия. Как звери! А ко всему хоть чуть-чуть выходящему за рамки устоев вы испытывали ненависть и презрение, они стали для вас чем-то вроде обязательного и полезного для здоровья трехразового питания. Все у вас было именно там, где надлежит: и спальня, и гостиная, и ванная, и кухня. А вы расхаживали по своему чинному владению и рассуждали о добром имени, порядочности, репутации. И даже во сне не приходило вам в голову открыть ключом ту дверь, за которой – бескрайнее, усыпанное звездами небо.

Г-жа де Монтрёй. Это верно. Открыть дверь в преисподнюю нам и в самом деле в голову не приходило.

Рене. Поразительная способность – презирать то, чего не можешь даже вообразить. Это презрение висит над всеми вами огромной сетью, а вы почиваете в нем, словно в гамаке, и наслаждаетесь послеобеденным сном. Ваши груди, животы, бедра незаметно для вас самих обретают твердость меди, а вы знай полируете металлическую свою поверхность, чтобы она сияла. Такие, как вы, говорят: роза прекрасна, змея отвратительна. И вам неведомо, что роза и змея – нежнейшие друзья, по ночам они принимают облик друг друга: щеки змеи отливают пурпуром, а роза посверкивает чешуей. Увидев кролика, вы восклицаете: «Какой милый!» А увидев льва: «Какой страшный!» Откуда вам знать, что ночью, когда бушует буря, кролик со львом сливаются в любовных объятиях и кровь одного смешивается с кровью другого. Что известно вам об этих ночах, когда святое становится низменным, а низменное – святым? Ваши медные мозги отравлены ненавистью и презрением, вы отдадите все, только бы таких ночей вообще не было. Но знайте: если их не будет, даже вам, вам всем, придется распроститься со спокойными сновидениями.

Г-жа де Монтрёй. «Вам всем»? Это ты родной матери так говоришь? Мать никто не заменит!

Рене. Как же, «не заменит». Вы ведь сами страшно гордитесь, что вы такая же, как все, вполне заменимая. Вы добиваетесь, чтобы и я стала заменимой. Нет уж, «все вы» – самое подходящее обращение.

Г-жа де Монтрёй. Невинный кролик, мерзкая гадюка, свирепый лев и хитрая лиса становятся одинаковыми в ночь, когда сверкают молнии. Это было известно и без тебя, тоже мне открытие. В свое время за такие вот ночи немало ведьм отправили на костер. Ты, Рене, распахнула эту твою дверь, за которой бескрайнее звездное небо, да и упала в бездну.

Рене. Как вы обожаете порядок, раскладываете каждый платочек и каждую перчатку на отведенную полку, в свой ящик. «Невинный кролик, мерзкая гадюка» – точно так же и людей вы хотите разложить по полочкам. «Добродетельная мадам де Монтрёй, порочный маркиз де Сад».

Г-жа де Монтрёй. Каждый сам определяет, на какую полку ему ложиться.

Рене. Ну а вдруг землетрясение, и содержимое всех ваших полочек перепутается: вас швырнет на полку порока, а Альфонса – на полку добродетели?

Г-жа де Монтрёй. А нужно, чтобы каждая полка запиралась на ключик, тогда и землетрясение не страшно.

Рене. Посмотрите хорошенько в зеркало и призадумайтесь – на какой полке вам место. Кто, польстившись на громкое имя маркиза де Сада, отдал дочь в заклад? Кто, поняв, что родовой замок маркиза охвачен пожаром, принялся выкупать свое имущество обратно?

Г-жа де Монтрёй. Да, и выкуп уплачен щедрый.

Рене. Все ваши деньги истрачены лишь на то, чтобы не предстать перед людьми в смешном и презренном виде.

Г-жа де Монтрёй. Конечно. А кто же станет платить за то, чтобы над ним смеялись и издевались?

Рене. Вы – как шлюха, выкупающая из ломбарда заложенное платье. Выкупите – будете вполне довольны. О, эта ваша мечта о тихой и спокойной жизни! Сидеть в уютной комнате, завесив окна розовым шелком, и, упаси боже, не выглядывать – что там происходит, на краю мира и даже еще дальше. А потом вы умрете, и единственной вашей услугой перед смертью будет мысль о том, что вы не дали ничему презренному и низменному себя запятнать. Есть ли на свете более дешевая, более вульгарная причина для гордости?

Г-жа де Монтрёй. А ты разве не умрешь?

Рене. Умру. Но не так, как вы.

Г-жа де Монтрёй. Я надеюсь – уж я-то, во всяком случае, на костер попадать не намерена.

Рене. А я не намерена окончить свою жизнь, как состарившаяся проститутка, которая скопила деньжонки на черный день и ударилась в благочестие.

Г-жа де Монтрёй. Рене, я тебя ударю!

Рене. Сделайте милость. Как вам понравится, если от вашего удара я вся сладострастно затрепещу?

Г-жа де Монтрёй. О-о, какое у тебя сделалось лицо...

Рене (*делая шаг вперед*). Какое?

Г-жа де Монтрёй (*визгливо*). Я боюсь! Ты стала так похожа на Альфонса!

Рене (*улыбается*). Графиня де Сан-Фон произнесла замечательную фразу: «Альфонс – это я».

Занавес

Действие третье

Апрель 1790 года. Со времени предыдущего действия миновало 13 лет. Во Франции уже девятый месяц идет революция.

Г-жа де Монтрёй (*она сильно сдала*). Рене!

Рене (*сидит и вышивает; в ее волосах седина*). Что?

Г-жа де Монтрёй. Тебе не скучно?

Рене. Нет.

Г-жа де Монтрёй. Тринадцать лет смотрю я, как ты складываешь в корзину провизию и отправляешься в тюрьму – относить Альфонсу передачу. Твое упорство поразительно, оно подавляет меня, я сдаюсь: в силу твоего чувства нельзя не поверить. Но еще больше поражает меня другое – за все тринадцать лет я ни разу не видела, чтобы ты томила и скучала. Вернувшись с одного свидания, ты сразу же с удовольствием начинаешь ждать следующего. Словно готовясь к пикнику, ты прикидываешь, что бы такое повкуснее приготовить.

Рене. Так оно и есть... Мне очень не хотелось, чтобы муж видел, как я старею. Однако, встречаясь со мной по два-три раза в месяц, он не замечал, как годы берут свое.

Г-жа де Монтрёй. Но теперь-то уж всему конец. В прошлом месяце учредительное собрание отменило тюремное заключение по именному королевскому указу. Законность и порядок, в которые я свято верила столько лет, умерли. Скоро все злодеи, все умалишенные выйдут на свободу... Ты давно не была у Альфонса. Почему?

Рене. В том уже нет нужды. Теперь достаточно просто ждать – и он придет.

Г-жа де Монтрёй. Резонно. Да, ты сильно изменилась.

Рене. Устала. И постарела. Да и потом, как не измениться человеку, когда меняется весь мир?

Г-жа де Монтрёй. И все же мне кажется, с тех пор как ты перестала таскать в тюрьму эти твои корзины с вареньем и разносолами да увлеклась вышиванием, вид у тебя стал скучный.

Рене. Это, наверно, весна виновата. Я так ждала ее когда-то, парижскую весну. Теперь же она приходит, бурная, как наводнение, а я чувствую – она уже не моя, принадлежит кому-то другому. Все вокруг перевернулось вверх дном, да и годы мои ушли. Чем дуться на весну, лучше уж сидеть дома взаперти и вышивать – вдруг весна улыбнется мне хоть из вышитого узора.

Входит Анна.

Анна. Что это у вас – и Шарлотта не выходит? Неужто и она отправилась в Версаль с прочими трудящимися массами требовать хлеба?

Г-жа де Монтрёй. Анна, ты? Что-нибудь случилось?

Анна. Пришла проститься. А еще лучше будет, если вы, матушка, поедете со мной.

Г-жа де Монтрёй. Как – проститься? Куда ты? Что за новости?

Анна. Мы с мужем уезжаем в Венецию.

Рене (*в первый раз за все время поднимает голову*). В Венецию...

Анна. Нет-нет, сестрица. С тем путешествием, увы, ничего общего. Муж купил в Венеции палаццо, и мы срочно туда переезжаем.

Г-жа де Монтрёй. А как же ваш дворец, а должность при дворе?! Все бросить и уехать на чужбину?

Анна. Здесь оставаться опасно. Мой муж – человек дальновидный, он говорит, что пустые надежды аристократии на какие-то перемены к лучшему ему надоели. Да вы, матушка, знаете все и сами. Граф Мирабо предлагал его величеству эмигрировать, но граф Прованский был против. А муж тоже считает, что королю следовало бы уехать, пока не поздно.

Г-жа де Монтрёй. И все же его величество пока еще здесь.

Анна. Да, такого медлительного короля Франция еще не знала.

Г-жа де Монтрёй. Пока король здесь, мы тоже должны оставаться в Париже.

Анна. Скажите, какая роялистка! Матушка, поймите вы: теперь не до глупостей. Это вам только кажется, будто буря улеглась, что ждет нас завтра – сказать трудно. Мужу привиделся ночью кошмарный сон, а наутро он решил: все, пора. Ему приснилась площадь Конкорд, превратившаяся в озеро крови.

Г-жа де Монтрёй. Когда вокруг происходит такое, надо действовать очень осмотрительно – десять раз проверить брод, прежде чем соваться в воду. У меня, например, предчувствие, что все обойдется и меня ждет спокойная, тихая старость. Возможно, будь жив твой батюшка, и на нас обрушился бы гнев толпы – а так кому мы нужны? Наоборот, с тех пор как все перевернулось вверх дном, стало легче – все забыли про историю с Альфонсом. Главное – не терять головы, не вставать ни на чью сторону, а жить себе да выжидать, чья возьмет.

Анна. Смотрите, матушка, кончите, как графиня де Сан-Фон.

Г-жа де Монтрёй (*смеется*). Скажешь тоже! Где уж мне удостоиться такой славной кончины.

Анна. Сегодня, кстати, ровно год. Как раз тогда в Марселе начались первые беспорядки. Г-жа де Монтрёй. Неужели все те слухи – правда?

Анна. Чем невероятнее слухи про мадам де Сан-Фон, тем они достоверней. Графине о ту пору прискучил Париж, и она отправилась в Марсель. По ночам, нарядившись портовой шлюхой, она завлекала матросов, а утром возвращалась в свой роскошный особняк и пересчитывала заработанные медяки. Специальный ювелир оправлял каждую монету в драгоценные камни. Графиня намеревалась обшить этими медяками платье сверху донизу, а затем поразить весь Париж.

Г-жа де Монтрёй. Однако она ведь была далеко не первой молодости – вряд ли она стала бы появляться в свет в открытом платье. А чтобы обшить монетами закрытое платье, надо было, верно, о-го-го как потрудиться.

Анна. И вот одной прекрасной ночью, когда графиня караулила на углу очередного клиента, началась заваруха. Нашу ряженую шлюху увлекло разбушевавшейся толпой, и она вместе со всеми стала распевать песни.

В левом углу сцены появляется Шарлотта, одетая во все черное. Она стоит и слушает.

Г-жа де Монтрёй. Знаю-знаю. «Всех аристократов на фонарь».

Анна. Графиня пела «Аристократов на фонарь» громче всех и маршировала в самом первом ряду. Потом на толпу напала полиция и началась паника, графиню сбили с ног и затоптали насмерть. Когда настало утро, бунтовщики подобрали труп, положили его на выломанную створку двери и с плачем и стенаниями понесли по улицам. Графиня превратилась в невинную жертву, в народную богиню. Какой-то рифмоплет – такие есть в каждом квартале – тут же сочинил песню «Прекрасная шлюха», и все стали петь ее хором. Ни один человек в толпе и не подозревал, кого они несут. В сиянии утреннего солнца мадам де Сан-Фон была похожа на ощипанную курицу. Ее набеленное лицо, покрытое пятнами крови и синяками, впоследствии превратилось в красно-бело-синее знамя революции. Когда же белила потекли под горячими лучами солнца, люди, пораженные, увидели, как на их глазах лицо молодой женщины превращается в морщинистую физиономию старухи. Впрочем, она так и осталась для них Прекрасной Шлюхой. Никого не смутили даже дряблые ляжки, просвечивавшие сквозь разодранное платье. Труп протащили по всем улицам, а потом процессия направилась к морю. Графиню опустили в волны Средиземного моря, синего от старости, черпающего силы в одной только смерти... Ну то, что именно с этих событий началась революция, вам известно.

Пауза. Шарлотта тихо уходит.

Рене. Так ты едешь в Венецию, к этому мертвому морю?

Анна (*вздрагнув*). Не говори так. Мы едем туда, чтобы жить, а не умирать.

Рене. Как тебе хочется жить. Как ты всегда ради этого хлопочешь. И такую ты была всегда. А на самом деле жизнь в тебя всякий раз вдыхает кто-то другой. Ну конечно, с тем путешествием в Венецию ничего общего нет. Ты ведь не ведаешь, что такое память, обрывки твоей жизни не связаны между собой ни единой нитью.

Анна. Ты хочешь, чтобы я все помнила? Не беспокойся, когда нужно, воспоминания к моим услугам. Только жить они мне не мешают. И знаешь, Рене, это у тебя нет воспоминаний. Ты всю жизнь, каждый день с раннего утра и до ночи, сидела, уткнувшись лицом в белую стену. Если так долго всматриваться в недвижную белую стену, начнешь различать на ней и темные пятна, похожие на засохшую кровь, и дождевые потоки, напоминающие следы слез.

Рене. Это верно, что я смотрела в одну точку. Только не в стену, а в стоячую воду омута – самого глубокого, какой только может быть. Вот моя доля.

Анна. Поэтому тебе и вспомнить нечего. Всегда одно и то же.

Рене. Мои воспоминания подобны мухе, застывшей в янтаре. Это не блики, скользящие по вечно изменчивой водной ряби, как у тебя... Ты правильно сказала. Тебе воспоминания жить не мешают. А мне мешают. Всегда.

Анна. И еще как. К тому же вызывают муки ревности. Вот смотришь ты на мое лицо и читаешь в нем два воспоминания, особенно тебе ненавистные. Воспоминания о том, чего у тебя не было никогда: о Венеции и о счастье.

Рене. Венеция и счастье... Да, две эти мухи в янтаре не замуруешь. Я никогда не желала ни того ни другого.

Анна. Это ты теперь так говоришь.

Рене. Нет. Сейчас я знаю, чего я желала. В юности, кажется, я и в самом деле мечтала о том же, что и ты... О Венеции и о счастье... Но мухи, застывшие в моем янтаре, не имеют ничего общего ни с Венецией, ни со счастьем, – они страшны, несказанно, невыразимо страшны. Я не мечтала о таком в юности, даже представить не могла. Но с годами постепенно я поняла. Когда происходит то, чего ты больше всего боялась, на самом деле исполняется твое неосознанное, сокровеннейшее желание. Только оно достойно чести стать настоящим воспоминанием, навеки застыть в кусочке янтара. Это плод, которым не пресытишься, вкуси его хоть сто тысяч раз.

Г-жа де Монтрёй. Ну-ну, Рене, бывает и по-другому. Иногда со старостью на душу нисходят мир и счастье. Когда неделю назад пришло последнее письмо от Альфонса, я почувствовала, как смягчилось мое сердце. Он знает, что скоро будет свободен, и все же не держит ни на кого зла. Даже меня он прощает. Пишет, что в тюрьме познакомился кое с кем из революционных вожаков, и обещает замолвить перед ними словечко, если у меня будут неприятности. Вон до чего дошло! Я всегда знала, что где-то в потаенной глубине его души живет чистый родник доброты.

Анна. Вы, матушка, тоже говорили много добрых слов, когда готовили западню для Альфонса.

Г-жа де Монтрёй. В свою доброту я и не верю. Но верю, что другие люди добры. Так как-то жить спокойней.

Анна. Ну так поверьте и в мою доброту. Я не требую, чтобы вы отправились в путь немедленно. Мы с мужем уезжаем послезавтра – у вас еще целых два дня. А если не решитесь теперь, то приезжайте в Венецию после.

Г-жа де Монтрёй. Спасибо, я не забуду твоей доброты. Старики думают медленно, так что не торопи меня, ладно?

Анна. Смотрите только не опоздайте.

Г-жа де Монтрёй. Да-да, обещаю, я не стану дожидаться, пока дела примут скверный оборот. Ну а сейчас – прощай.

Анна. Прощайте... Матушка... Рене...

Рене. Прощай, Анна.

Г-жа де Монтрёй. Я буду молиться, чтобы ваш путь был безопасен. Передавай поклон графу.

Анна. Передам.

Г-жа де Монтрёй. Шарлотта!

Шарлотта входит и провожает Анну со сцены. Пауза.

Шарлотта!

Шарлотта появляется вновь.

Шарлотта. Да, мадам?

Г-жа де Монтрёй. У меня в доме, слава богу, никакой беды не случилось. А ты никак в трауре?

Шарлотта. Так точно, мадам.

Г-жа де Монтрёй. А, понимаю, это траур по твоей прежней хозяйке, графине де Сан-Фон. Ведь сегодня годовщина ее смерти. Твоя преданность ее памяти весьма трогательна, однако, сколько мне помнится, ты терпеть не могла покойницу и сбежала от нее ко мне.

Шарлотта. Так точно, мадам.

Г-жа де Монтрёй. Что ты заладила: «так точно» да «так точно»! Ты же не деревенская девчонка, только поступившая на службу. За девять месяцев после взятия Бастилии все вокруг словно взбесились, а ты, наоборот, стала тише воды ниже травы. С тех пор как голодранцы из Сент-Антуанского предместья, требуя хлеба, устроили марш в Версаль, ты изменилась. Что там у тебя на уме? Ты двадцать лет прожила в моем доме, нужды ни в чем не знала, деньжонок поднакопила, так что вряд ли станешь маршировать по улицам с оборванцами. Или тебя вдохновил пример графини де Сан-Фон? Смотри, как бы и тебя не постигла участь этой поддельной героини... Послушай, а может быть, именно об этом ты и мечтаешь? О такой вот героической гибели, а?

Шарлотта (*решиительно*). Так точно, мадам.

Г-жа де Монтрёй (*смеется*). Ну тогда ладно. Бог с тобой, носи что хочешь. Раз твой траур и твоя скорбь тоже поддельные, я не возражаю.

Шарлотта. Благодарю, мадам.

Г-жа де Монтрёй. Так, значит, ты любила покойную графиню?

Шарлотта. Так точно, мадам.

Г-жа де Монтрёй. Больше, чем свою нынешнюю хозяйку?

Шарлотта. Так точно, мадам.

Г-жа де Монтрёй. Ай-ай-ай, до революции ты со мной так разговаривать не смела. Все теперь стали такие честные, прямо беда... А-а, кто-то к нам в гости пожаловал.

Шарлотта выходит. Рене встает. Шарлотта вводит баронессу де Симиан в монашеском одеянии.

Баронесса, вы? Сколько лет, сколько зим.

Баронесса (*сильно постаревшая*). Да, давненько у вас не была. День добрый вам обоим.

Г-жа де Монтрёй. Что-нибудь случилось?

Баронесса. Меня пригласила Рене.

Г-жа де Монтрёй. Да?

Рене. Спасибо за то, что пришли.

Баронесса. У ворот я встретила вашу сестру. Кажется, она уезжает в Италию?

Г-жа де Монтрёй. Так, во всяком случае, она нам сказала.

Баронесса. Я рада, что вы, Рене, наконец решились. Я ждала от вас этого шага.

Г-жа де Монтрёй. Решилась? На что решилась?

Рене. Матушка, я не стала с вами советоваться, а обратилась прямо к госпоже де Симиан. Я попросила принять меня в тетушкин монастырь.

Г-жа де Монтрёй (*пораженно*). Ты? В монастырь? Хочешь удалиться от мира?

Рене. Да.

Г-жа де Монтрёй. Ничего не понимаю... Извините, баронесса. Благодарю вас за доброту и участие, но, вы ведь понимаете, речь идет о судьбе моей родной дочери, и я должна... В первый раз об этом слышу! Да и как же – ведь со дня на день маркиз выходит на свободу...

Баронесса. Ваше удивление вполне естественно. Поговорите между собой, а я, с вашего позволения, пройду в соседнюю комнату и подожду там. *(Идет к правой кулисе.)*

Рене. Пойдите!

Г-жа де Монтрёй. Рене...

Рене. Нет, пусть тетушка останется здесь. Я хочу, чтобы она все слышала. Двадцать лет я бегала к ней советоваться об Альфонсе, так что теперь секретничать просто глупо.

Г-жа де Монтрёй. Да, конечно, но...

Рене. Прошу вас, тетушка, оставайтесь.

Баронесса. Ну, если вы настаиваете...

Г-жа де Монтрёй. Раз вы обе заодно, я буду говорить без обиняков. Но прежде, будьте любезны, баронесса, объясните поподробней – о чем именно просила вас Рене.

Баронесса. Особенно рассказывать нечего. В последние месяцы Рене бывала у меня очень часто, мы много говорили. И я обещала свою помощь, если она твердо решит удалиться от мира. Вот и все.

Г-жа де Монтрёй. Значит, когда ты перестала ходить к Альфонсу и вдруг так увлеклась вышиванием, ты готовилась к этому решению?

Рене. Нет, я уже очень давно думала об этом. Теперь мои мысли просто переросли в решимость.

Г-жа де Монтрёй. Именно сейчас, когда должны освободить Альфонса?

Рене. Это было последним толчком, последней каплей. Прежде в моей душе боролись два желания – уйти от мира и встретиться с мужем. После каждого свидания я решала: «Все, следующая встреча будет последней, а потом уйду». Но сердцу не хватало твердости... И все же каждое такое половодье мало-помалу углубляло новое русло реки.

Баронесса. Это Господь взирал на вас с небес, это Он был вашей путеводной нитью. Вы – рыбка, выловленная Всевышним. Не раз срывались вы с крючка, но втайне всегда знали: рано или поздно вам не уйти. Вы посверкивали чешуей, плавая в бренном море суеты. Когда взор Божий, подобно лучам предвечернего солнца, падал на вас, вы вспыхивали ослепительным блеском и, трепеща, мечтали только об одном – поскорее быть выловленной. Господь вездесущ, Его божественным очам несть числа, и каждое из них обращено в мир. Они бдительнее и неотступнее самого рьяного королевского соглядатая, им видны как на ладони потаеннейшие закоулки человеческих душ. Господь обладает неистощимым терпением, Он ждет, пока заблудшие души сами придут в Его сети, и лишь тогда препровождает их в свою сияющую тюрьму, в свои блаженные чертоги. Стыдно признаться, но мне Божий промысел открылся лишь несколько лет назад, уже в преклонные годы. Раньше я лишь изображала набожность, лишь любовалась собственными добродетелями – а это иссушает душу. Есть воспоминания, которые и сегодня заставляют меня краснеть. Сколько же лет назад это было... Девятнадцать. Осенним днем в этой самой зале графиня де Сан-Фон рассказывала мне о вашем зяте. Неужели миновало уже столько лет! Девятнадцать... Потом вошли вы, мадам, – от перенесенных душевных мук ваше лицо обрело особый внутренний свет. Наконец приехала и Рене – чистая, прекрасная, бесконечно печальная... Кажется, все это было вчера. А может быть, время, меняющее наш облик, тихо вышло из залы, а мы просто не расслышали шелеста его одежд?.. Перед тем как вы, госпожа де Монтрёй, присоединились к нам, графиня, помахивая хлыстиком, рассказывала мне о марсельских похождениях маркиза – простите, что говорю об этом. Слушая графиню (как молю я Бога, чтобы Он упокоил ее грешную душу!), я сотворяла крестное знамение, а сама чувствовала, что радужное сияние, дьявольское наваждение страшного ее рассказа завладевает мной. Признаться ли – я вся просто обратилась в слух, боясь пропустить хоть словечко... Уже одно то, что я сейчас так открыто могу говорить об этом, показывает, насколько ближе стала я к Богу. Теперь-то мне ясно: это самолюбование собственной чистотой и праведностью ввергло меня в соблазн, и грех был во мне, а не в поступках маркиза или рассказе мадам де Сан-

Фон. Если б меня не одолела гордыня, я поняла бы: мои чистота и праведность – не более чем камешки на берегу реки, и нечего терзаться, если в лучах божественного солнца вспыхивают не они, а соседние. Я полагаю, что ныне и Рене избавилась от пут и обрела свободу. Только предназначенное ей испытание было в сотни раз труднее, поэтому перенесенные ею муки не сравнимы с моими.

Г-жа де Монтрёй. Вы высказались. Позвольте и мне, женщине из этого грешного мира, просто матери, тоже сказать Рене несколько слов. Я хотела бы, чтобы ты, прежде чем удалиться в мир молитвы, закончила свои дела и в нашем суетном мире. Прими его последнее причастие.

Баронесса де Симиан хочет что-то возразить, но госпожа де Монтрёй перебивает ее.

Нет уж, дайте мне закончить. Каким бы ни был Альфонс, но разве теперь, когда он наконец обретает свободу, ты не хочешь разделить с ним остаток жизни?

Рене. Но, матушка...

Г-жа де Монтрёй. погоди. Девятнадцать лет я твердила тебе: «Оставь его» – но ты меня не слушала. Отчего же нынче ты вдруг так переменялась? Ведь я больше этому не противлюсь. Хочешь быть ему верной супругой – ради бога. Но в монастырь-то зачем? Придворные связи Альфонса по нынешним временам не имеют никакой ценности, скорее даже опасны. Но, видишь, меня это не пугает, я согласна видеть его своим зятем... С другой стороны, если взглянуть на дело глазами Альфонса, – наконец пробил его час и он может сполна рассчитаться за все удары, которые вынес.

Рене. И будет, матушка, совершенно прав.

Г-жа де Монтрёй. Возможно. Но ведь в душе-то он человек не злой, я знаю. И надеюсь, поймет, что все мои действия в конечном итоге были только ему на пользу.

Рене. Вам на пользу.

Г-жа де Монтрёй. Это когда же я думала о своей пользе? Лишь о чести и репутации рода де Сад, о сохранении твоего доброго имени. Сейчас весь мир перевернулся, род, имя уже ничего больше не значат, о приличиях все забыли. Нечего больше защищать, так что нет никакого смысла держать Альфонса под замком. Пускай теперь машет себе кнутом сколько влезет, щелкает своей бонбоньеркой. Мир взбесился, никто ему слова не скажет. Откровенно говоря, я и сегодня считаю твоего муженька распутником и негодяем. Но теперь всем заправляют безумцы, преступники и бродяги. Альфонс прекрасно будет смотреться в этой компании. Может, он даже станет спасителем нашей семьи.

Рене. Я вижу, вы намерены его использовать.

Г-жа де Монтрёй. Намерена. И ты должна мне в этом помочь. У Альфонса ведь добрая душа.

Рене. Да, он всегда был просто добрым ребенком. Златокудрым, с широко раскрытыми глазами. Иногда шалил, но всякий раз искупал провинности лаской и нежностью. Я так и вижу перед собой его стремительный, как изумрудная ящерка на весеннем лугу, взгляд.

Г-жа де Монтрёй. Госпожа де Симиан, я думаю так. В нынешнем хаосе, именуемом революцией, бесстыдные выходки Альфонса могут быть сочтены весьма похвальными – уже хотя бы потому, что они бросали вызов обществу. Негодование, которое они прежде вызывали у всех порядочных людей, станет лучшим доказательством невиновности Альфонса, а заключение в королевскую тюрьму теперь почетней любого ордена. Вон как все перевернулось. Когда золото не в цене, медь и даже олово чувствуют себя благородными металлами – только лишь потому, что они не золото... Если Альфонс будет вести себя умно, кто знает, может, ему суждено остаться единственным аристократом, не вздернутым толпой на фонарь. Былые злодеяния маркиза спасут от гибели и его, и всех нас. В самой большой опасности сейчас такие люди, как я, люди с безупречной репутацией... И все же это ничего не меняет – Альфонс как был

отребьем, так им и остался. Но когда мир сходит с ума, в цене лишь такие, как он, – распутники и лиходеи... Поразительно, до чего мелкими и незначительными кажутся сегодня грехи Альфонса, из-за которых я так мучилась когда-то. Подумаешь, выпорол кнутом каких-то девок. Ну, пролил несколько капель крови. Накормил дурацкими безвредными пилюлями. *(Смеется.)* Ну, чуть не прикончил одну из моих дочерей – да хоть бы и обеих. Оказывается, тот, с кем я воевала двадцать лет, – добрый ребенок и все это были милые шалости.

Баронесса. Не стоит так говорить, мадам. Не важно, с кем вы воевали, главное, что вы отважились на эту войну. Вы боролись не с Альфонсом, а с тем злом, которое он олицетворял. Если вы не поймете этого, то можете, подобно Альфонсу, утратить в себе Бога. Что бы ни происходило в окружающем мире, Господь всегда ясно показывает нам, что хорошо, а что дурно, – черта, разделяющая добро и зло, подобна линии, которую дети проводят мелом по мостовой.

Г-жа де Монтрёй. Вы так полагаете? А по-моему, эта линия скорее походит на границу моря, перемещающуюся по мере приливов и отливов. Альфонс как раз оседлал полосу прибоя – одной ногой он всегда в воде и шарит по дну, подбирает кроваво-красные ракушки и длинные, как кнуты, водоросли.

Рене. Матушка, вы заговорили прямо как Альфонс. Может быть, вы и в самом деле легко найдете с ним общий язык.

Г-жа де Монтрёй. Ох, Рене, как же я устала. И ты тоже – только этим объясняю я твое неожиданное решение.

Рене. Вы устали? От кого – от Альфонса или от самой себя?

Г-жа де Монтрёй. Не будь такой злой, Рене. Мы обе очень устали – так давай возьмемся за руки и будем утешать друг друга, помогать друг другу.

Баронесса. Рене, ваша матушка заплутала во тьме бытия, сбилась с пути, который связывает наш мир с Богом. Вы должны прийти ей на помощь, спасти ее.

Г-жа де Монтрёй. Не нужно мне, чтобы ты меня спасала. Скажи лучше, правда ли, что Альфонс в Венсенском замке сдружился с самим Мирабо, чья звезда нынче сияет так ярко?

Рене. Нет. Они, кажется, все время ссорились.

Г-жа де Монтрёй. Ах так, значит, они были до того близки, что даже ссорились? Прямо как мы с Альфонсом.

Рене. Если в вас есть хоть капля гордости, вы не станете просить помощи у того, кому доставили столько зла...

Г-жа де Монтрёй. А кто просит? Он сам написал об этом в письме. Мол, если у меня возникнут неприятности, он замолвит за меня словечко перед нынешними законами.

Баронесса. Он так написал? Благородное сердце! Воскрес тот чистый, златокудрых мальчик, которого я знала. Маркиз возлюбил врагов своих и простил им все. Должно быть, он раскался во всех своих преступлениях. Кончилась кровавая ночь, и в душе грешника зажглась божественная заря. Как я понимаю ваши чувства, милая Рене. Вы распознали в Альфонсе первые проблески чудесного сияния и решили уйти из суетного мира, чтобы и самой приблизиться к источнику священного огня. И повести за собой душу маркиза, ведь правда? Увлеченный вашим примером, Альфонс не позволит, чтобы зажегшийся в нем огонек угас, станет лелеять его и последует, непременно последует за вами. Вы оба ступите в край, озаренный беспредельным сиянием. Рене, вы воистину зеркало добродетели для всех женщин этого мира. И вы займете истинно высокое, достойное ваших совершенств положение Христовой невесты. За свою долгую жизнь я видела разных женщин, но ни одна из них не была столь добродетельна, как вы.

Рене. Но, тетушка...

Баронесса. Что, дитя мое?

Рене. Вы правы, отказаться от мужа и от мира меня и в самом деле заставило сияние, но... Как бы вам объяснить... Это не то сияние, которое имеет в виду вы.

Баронесса. Как так?

Рене. Чудесное-то оно чудесное, это сияние, только источник его несколько иной...

Баронесса. О чем вы? Разве может у чудесного сияния быть иной источник, кроме Бога?

Рене. Может. Впрочем, я не знаю – вдруг и в самом деле источник один и тот же. Просто свет отразился от чего-то, и его лучи дошли до меня с противоположной стороны.

Баронесса (*встревоженно*). Это с какой такой противоположной?

Рене. Я и сама не вполне понимаю. Знаю только одно: свет забрезжил после того, как я прочитала страшную книгу, присланную Альфонсом из тюрьмы. Он сам написал ее и назвал «Жюстина, или Несчастья добродетели». Получив ее от Альфонса, я вначале не ждала ничего дурного – ведь я не читала раньше ни одного из его сочинений. В книге описаны приключения двух сестер: Жюльетты – старшей и Жюстины – младшей, лишившихся родителей и вынужденных скитаться. Все в этой истории перевернуто с ног на голову, на младшую сестру, свято хранящую добродетель, обрушиваются одно за другим страшные несчастья, а старшая, ступившая на стезю порока, осыпана дарами судьбы. Мало того, гнев самого Господа обрушивается не на распутную Жюльетту, а на невинную Жюстину, погибающую самым жалким и нелепым образом. Она имеет чистую душу и придерживается самой высокой нравственности, но вечно попадает в постыдные ситуации, подвергается унижениям, ей отрезают пальцы, выбивают зубы, ставят позорное клеймо, без конца то избивают, то похищают, и в завершение всего, когда по ложному обвинению Жюстину должны казнить, спасает ее не кто иной, как погрязшая в грехе старшая сестра! Но не подумайте, что несчастной Жюстине улыбнулась удача, – ее ждет бессмысленная и страшная смерть от удара молнии... Вот что, оказывается, писал Альфонс день за днем, ночь за ночью! Зачем, для чего? Тетушка, разве не ужасный, смертный грех такое творение?

Баронесса. Грех, да еще какой. Не только свою душу осквернить, но и чужие души ядом отравить. Это страшный грех.

Рене. Какой же грех тяжелее – написать такую книгу или пороть до крови проституток и нищенок?

Баронесса. Оба одинаково тяжелы. Зло, содеянное в душе, столь же греховно, как содеянное наяву.

Рене. А каков, по-вашему, Альфонс? Понесший кару от людей за свои поступки, лишенный возможности творить зло в жизни, он продолжает творить его в своей душе.

Баронесса. Монастырский устав, дитя мое, изгоняет в равной степени грехи и содеянные, и помысленные. Зло погибает там, лишенное корней. А тюрьма – дело другое. Альфонс не может там совершать злодейство, но он вцепился в корни греховности, уцелевшие в его сердце.

Рене. Нет, это не так! Альфонс, тот Альфонс, которого я знала прежде, ушел от меня, скрылся в иной, неизвестный мне мир.

Баронесса. Ты имеешь в виду преисподнюю?

Г-жа де Монтрёй. Господи, ну сочинил он какие-то там дурацкие сказки, так что с того? Когда-то и я придавала много значения подобной ерунде, считала, что сочинительство зло-вредных книг хуже любого преступления, – то, по крайней мере, раз совершено, да потом и забыто. Но сейчас я думаю иначе. Книгу достаточно бросить в огонь, и от нее останется лишь кучка пепла. Преступление – это то, что оставляет след. Книга же, если никто ее не прочел, следа не оставляет.

Рене. Если никто ее не прочел? Но ведь я-то прочла.

Г-жа де Монтрёй. Всего один человек, к тому же жена сочинителя.

Рене. Да, один человек, но зато – жена. Эта злосчастная Жюстина – добрая, ранимая, печальная, нелюдимая, так не похожая на ветреную сестру стыдливостью и целомудрием... Полудетское лицо, огромные задумчивые глаза, белоснежная кожа, хрупкая фигура, тихий и грустный голос... Вам не кажется, что Альфонс нарисовал мой портрет – какой я была в деви-

честве? И еще я подумала: уж не для меня ли написал он историю женщины, которую добродетель обрекла на несчастье и гибель? Помните, матушка, тринадцать лет назад, в этой самой комнате, когда я затеяла с вами ту постыдную перебранку, я еще, вслед за графиней де Сан-Фон, сказала: «Альфонс – это я».

Г-жа де Монтрёй. Еще бы мне не помнить, до сих пор так и слышу эти твои слова: «Альфонс – это я».

Рене. Так вот – я ошибалась. Я сказала совсем не то, что следовало. «Жюстина – это я» – вот что говорю я теперь. У Альфонса в тюрьме было достаточно времени для раздумий. Он писал, писал и в конце концов посадил меня в темницу своего романа. Меня, живущую на воле, он всю, без остатка, запер в мрачный плен. Из-за Альфонса вся моя жизнь, все мои бесчисленные страдания обернулись тщетой и тленом. Оказывается, я жила, действовала, горевала, рыдала лишь ради того, чтобы попасть в некую страшную сказку! О-о, лишь прочтя ее, я впервые поняла, чем занимался Альфонс все эти годы в своей камере. Бастилию захватили и разрушили извне, а он свою тюрьму взорвал изнутри, и без всякого пороха. Сила его воображения разнесла каменные стены в прах. Можно сказать, что после этого он сам, по доброй воле, предпочел оставаться в камере – он все равно был свободен. Мои многолетние терзания, подготовка побега, королевский эдикт, мздоимцы-тюремщики, прошения и петиции – все было впустую, все было ни к чему. Этот человек, не удовлетворившись грехами плоти, которые неспособны насытить душу, решил воздвигнуть некий нетленный Храм Порока. Не единичные злодеяния, а настоящий кодекс Зла; не деяния, а Догмат; не одна ночь греховных наслаждений, а бесконечная Всенощная, переходящая в вечность; не рабство кнута, а Царство кнута – вот что замыслил он создать. Он, который испытывал блаженство, лишь ранив и разрушая, кончил тем, что пришел к созиданию. В нем зародилась некая неясная субстанция, некая чистейшая эссенция Зла, и образовала совершенный кристалл Зла. А мы с вами, матушка, живем в мире, созданном маркизом де Садом!

Баронесса (*крестится*). Что вы такое говорите!

Рене. Я следовала повсюду за душой Альфонса. Я следовала повсюду за его телом. Я всегда была там, где был он. И что же? Внезапно его руки обрели крепость стали и сокрушили, раздавили меня. У этого человека больше нет души. Тот, кто написал такое, не может иметь человеческую душу. Это уже нечто совсем иное. Человек, отказавшийся от своей души, запер весь мир людей в железную клетку, а сам похаживает вокруг да знай себе ключами позвякивает. И, кроме него самого, нет больше ключей от этой клетки ни у кого на всем белом свете. Мне этот замок уже не открыть – никогда. И нет сил даже на то, чтобы просовывать меж железных прутьев руки и молить о милосердии... А по ту сторону решетки я вижу всех вас – матушку, вас, мадам, Альфонса. Как хорошо, привольно вам там, на свободе! А он – он развел свои длинные руки так широко, что достает до самого края земли, до самого предела времен; он сгреб целую гору из Зла, забрался на нее и пальцами вот-вот коснется самой вечности. Альфонс намерен влезть по чердачной лестнице прямо в рай!

Баронесса. Господь разрушит его жалкую лестницу.

Рене. Нет. Как знать, быть может, Господь сам поручил Альфонсу эту работу. Вот я и хочу провести остаток дней в монастыре, чтобы никто не мешал мне расспросить Бога как следует.

Г-жа де Монтрёй. Так ты все-таки...

Рене. Да, это решено.

Г-жа де Монтрёй. Даже если Альфонс придет сюда? Твой муж, которого ты так ждала целых девятнадцать лет?

Рене. Это не изменит моего решения. Альфонс... Самый странный из людей, которых мне довелось видеть в жизни. Из тьмы злодеяния он извлек сияние, из мерзости и грязи сотворил возвышенное – он выковал роскошные доспехи, достойные его громкого имени, и обратился в рыцаря без страха и упрека. Лиловое свечение, исходящее от Альфонса, озаряет окру-

жающий мир, и доспехи рыцаря тускло мерцают в этом таинственном свете. На ржавой от крови стали – причудливые узоры, арабески из роз, фестоны из вервий. Огромный щит расклен докрасна, он цвета обожженной женской кожи. Рогатый шлем из чистого серебра окружен нимбом страданий и стонов. Рыцарь прижимает к устам свой меч, досыта напившийся крови, и торжественно произносит слова обета. Золотые волосы, спадая из-под шлема, обрамляют мертвенно-бледное, подобное лучу света лицо. Несокрушимые латы похожи на замутившееся от дыхания серебряное зеркало. Когда рыцарь, снимая кованую рукавицу, своей белой и тонкой, почти женской рукой касается чьего-нибудь чела, самый жалкий, самый обездоленный из людей обретает мужество и следует за своим господином на поле брани, над которым уже занимается заря. Рыцарь не идет – он летит по небу. А после кровавой битвы на широком нагруднике его серебряного панциря начинается беззвучный пир миллионов павших. От рыцаря исходит холодная как лед сила, под чарами которой забрызганные кровью лилии опять становятся белее снега. А белый конь воина, весь в алых пятнах, расправив широкую, как бушприт фрегата, грудь, взлетает в утреннее небо, рассекаемое вспышками молний. И небо рушится, неудержимым потоком разливается по нему божественное сияние, от которого слепнут все, кто наблюдал чудесное зрелище. Альфонс... Быть может, он – дух этого лучезарного света?..

Входит Шарлотта.

Шарлотта. Его светлость маркиз де Сад. Прикажете просить?

Всеобщее молчание.

Так просить или как?

Г-жа де Монтрёй. Рене...

Баронесса. Рене...

Рене (*после паузы*). Шарлотта, а как он выглядит?

Шарлотта. Да он же тут, за дверью. Привести?

Рене. Я спрашиваю, как он выглядит?

Шарлотта. Так переменялся – я насилу узнала. Он в черном плаще, на локтях – заплаты, ворот рубахи весь засаленный. Поначалу, грех сказать, я его за старика-нищего приняла. И потом, его светлость так располнел – лицо бледное, опухшее, сам весь жирный, еле одежда на нем сходится. Я прямо думала – в дверь не пройдет. Ужас до чего толстый! Глазки бегают, подбородок трясется, а чего говорит, не сразу и разберешь – зубов-то почти не осталось. Но назвался важно так, представительно: «Ты что, говорит, Шарлотта, никак забыла меня? Я – Донасьен Альфонс Франсуа маркиз де Сад».

Все молчат.

Рене. Отошли его прочь. И скажи: «Вам никогда больше не увидаться с госпожой маркизой».

Занавес

Мой друг Гитлер

Пьеса в трех действиях

Действующие лица

Адольф Гитлер.

Эрнст Рем.

Грегор Штрассер.

Густав Крупп.

Время действия

Июнь 1934 г.

Место действия

Берлин, резиденция рейхсканцлера.

Действие первое

Большая гостиная берлинской резиденции рейхсканцлера. В глубине сцены – балкон. На нем, спиной к зрителям, стоит Гитлер в смокинге и произносит речь, время от времени прерываемую восторженными криками толпы. Справа от Гитлера – Рем в форме штурмовика, слева – Штрассер в обычном костюме. Оба, как и Гитлер, стоят к зрительному залу спиной. Речь Гитлера, как и крики, начинается еще до поднятия занавеса и продолжается после того, как занавес поднят.

Гитлер. Вдумайтесь, господа! Сегодня наша родина, покончив с эпохой позора, шаг за шагом движется к новой эпохе – независимости и созидания. Вспомните, что было восемнадцать лет назад. Год тысяча девятьсот шестнадцатый, в разгаре великая война. Я простой, мужественный солдат. Ранен на фронте, лечусь в Беелитцком госпитале. И одолевают меня мысли, от которых все нутро как огнем горит. Уже закопошились гнилостные бактерии, которые потом, после войны, разложат душу германского народа. Над честными солдатами в госпитале издеваются. Мерзавец, нарочно разодравший руку о колючую проволоку, чтобы попасть в тыл, похваляется своей подлой изобретательностью. Да еще заявляет, что его гнусный поступок требует куда большего мужества, чем героическая гибель на поле брани. Как вам это нравится, а? Будущее разложение уже гнездилось в нашем тылу! Уже тогда зрело все это – и послевоенное разрушение всех и всяческих ценностей, и трусливый пацифизм, и эта смрадная демократия, и заговор евреев, радующихся поражению нашей родины, и омерзительные замыслы коммунистов! Представляю, какие горькие слезы лили, взирая на несчастную Германию, духи погибших героев, – оттуда, из золотых залов Валгаллы, куда унесли их валькирии. Каким гневным гулом откликались на эти скорбные стенания высокие потолки, выложенные щитами, и разложенные по скамьям Валгаллы доспехи – как вспыхивали они бликами от горящих на столах светильников! Но теперь стенания героев умолкли. Ложь, грязь, позор смыты раз и навсегда. С января прошлого года, с тех пор как я стал рейхсканцлером, боги возложили на мое правительство, верное интересам страны, особую миссию. Коммунистическая партия, затеяв гнусный поджог рейхстага, сама вырыла себе могилу. В нашем рейхстаге нет больше этих предателей родины! Нет больше антинародной своры социал-демократов! Нет больше католической партии Центра, этой пацифистской заразы! Осталась только одна партия – Национал-социали-

стическая немецкая рабочая партия, наследница славных традиций отчизны, строительница будущей могущественной Германии!

Где-то в середине речи на сцене появляется Густав Крупп – пожилой, с тростью. На минуту останавливается, слушая речь, потом зевает и проходит в центр сцены. Садится в кресло лицом к зрителям и ждет со скучающим видом. Потом подает знак Рему, но тот не обращает внимания. Наконец Рем оборачивается, видит Круппа и осторожно, косясь на Гитлера, выходит в центр сцены. Их разговор с Круппом начинается после слов Гитлера: «...будущей могущественной Германии!» После восторженных криков толпы речь Гитлера продолжается, но зрителям слов уже не слышно – они видят лишь жестикуляцию оратора.

Рем. Вы опять мешаете Адольфу выступать.

Крупп. Его речи пикантнее слушать не спереди или сбоку, а отсюда, с изнанки. Пение настоящей примадонны слышно и за кулисами. Это мое давнее пристрастие, знаете ли, – ждать за сценой, прижимая к груди букет.

Рем. Вы и сегодня с букетом?

Крупп. Да. Из железа... Милейший Рем, вот вы всех нас, капиталистов, без разбора называете реакционерами. А возьмите компанию «Крупп». Вы думаете, я, председатель правления, могу хоть как-то повлиять на ее деятельность? Ею всегда руководила воля железа, дух железа, даже мечты железа. Вы что же думаете, железу приятно, что после войны компания делает из него проекторы для кинематографа, кассовые аппараты и всякие там кастрюли? Мечты железа разбиты вдребезги. Вы думаете, его радует прикосновение вялых пальцев женщин, детей и мелких лавочников? Долг рода Круппов – осуществлять мечты железа.

Рем. Ну и осуществляйте себе.

Крупп. Вы, Рем, человек военный. Все у вас просто.

Рем. Да, я солдат. Но я не из тех вояк, что любят дрыхнуть после обеда, лишь бы не потревожить жирное брюхо, увешанное орденами. Настоящий солдат молод, груб, ни черта не боится, ест как слон и пьет как лошадь, может под горячую руку расколошматить шикарную витрину, может, заступаясь за обиженных, и кровь пустить. Настоящий солдат отважен, благороден, бесшабашен.

Крупп. Это что, кодекс штурмовых отрядов?

Рем. У меня, начальника штаба СА, есть мечта. Хочу, чтобы такие вот бойцы стали ядром рейхсвера и вышибли из армии старых диабетиков-генералов... А он говорит: миссия штурмовиков выполнена. Не понимаю...

Крупп. Кто говорит?

Рем. Адольф... Да нет, не может он так думать. Кое-кто заставляет его так говорить...

Здесь разговор Круппа и Рема перестает быть слышен, и снова доносится речь Гитлера.

Гитлер...Но не будем забывать, господа. Революция не может продолжаться вечно. Насильственное ее затягивание может привести народную экономику к краху. Нельзя допустить, чтобы в Германии вновь воцарились голод, инфляция, разруха. Только этого и ждут наши враги! Сейчас, сегодня, начинается великая эра созидания. Революцию, этот потоп, прорвавший плотину, необходимо направить в безопасное русло, имя которому Прогресс. В нашей программе нет места тому, что проповедуют ниспровергатели – эти безумцы, эти кретины! Наша программа призывает к постепенному, осмотрительному, мудрому осуществлению единственно верной, устремленной к богам идеи. Настоящий социалист – тот, кто понимает: нет идеи более высокой, чем процветание отчизны, кто всей душой верит в слова нашего великого

гимна: «Германия, Германия превыше всего!» Господа! Сегодня мы, весь наш единый народ, должны взять в руки не оружие, а молот и выковать новую, славную, великую Германию!

Здесь речь Гитлера вновь становится беззвучной, а слышен диалог Круппа и Рема.

Крупп. Как вам понравилось про молот? Промышленники из Эссена ворчат: «Гитлер хочет нас разорить». Кажется, он их услышал.

Рем. Гитлер – отличный товарищ. Даром что стал рядиться в эти поганые смокинги и фраки, но сам все такой же. Он верен старой дружбе.

Крупп. Верен? Что же он тогда вас министром так долго не решался сделать?

Рем. О, Гитлер – голова! Хотя мы и пришли к власти, но руки у нас пока связаны, все не так просто.

Прежде чем он смог ввести меня в кабинет министров, ему пришлось выдержать немало схваток, расчистить место... Кто мерзавец, так это Геринг. Идиот, увешанный орденами. По-настоящему-то он заслужил только прусский «Крест за доблесть». С тех пор как прошлым летом рейхспрезидент произвел его в генералы, он прямо раздулся от важности. Ведет себя так, будто за ним – вся армия! Это из-за него между армией и СА кошка пробежала. И что он говорит, мразь! «Штурмовые отряды больше не нужны, их надо распустить». Да как он смеет?! Это он мне – человеку, создавшему трехмиллионную штурмовую армию, в десять раз больше рейхсвера!.. Когда я возглавил СА, штурмовиков было всего десять тысяч. За каких-то два-три года я увеличил личный состав в триста раз!

Крупп. Ну что вы, милейший Рем, разве может кто-нибудь согнать вас с вашего насеста? Для вас военная форма – как оперение для орла. Если эти перышки ощипать, вы ведь просто жить не сможете. Лучше всего орел смотрится в виде чучела.

Рем. Это верно, я солдат до мозга костей. В мундире мне спать удобней, чем в пижаме. Мундир сросся с моей шкурой. Я и мальчишкой мечтал только об одном – стать солдатом. Помню, когда десять лет назад увольнялся из армии, жизнь была не мила. Но теперь я очень хорошо понимаю: нельзя доверяться армии, лишенной революционного духа, армии идиотов, в которой и поныне всем заправляют эти пруссаки-генералы. Иначе мы проиграем и следующую войну!

Крупп. Но ведь вы создали армию, о какой мечтали. Три миллиона солдат – сила.

Рем. Только силу эту держат на положении пасынков.

Крупп. Не стоит расстраиваться. Все еще наладится.

Рем. Вы, господин Крупп, всю жизнь прожили в шелковой рубашечке. Разве можете вы понимать, какая это красивая, четкая штука – армия.

Крупп. Нет, откуда же. Зато мое железо очень хорошо это понимает. Когда его плавят в моих огненных печах, оно мечтает о холодной казарме.

Рем. Армия – это рай для мужчины... Утреннее солнце просеивается сквозь листву, его лучи сияют медным блеском, и эта медь превращается в медь горна, трубящего побудку. В армии все мужчины – красавцы. Когда молодые парни выстраиваются на утреннюю поверку, солнце вспыхивает на их золотых волосах, а их голубые, острые как бритва глаза горят огнем разрушения, скопившимся за ночь. Мощная грудь, раздутая утренним ветром, полна святой гордости, как у молодого хищника. Сияет начищенное оружие, блестят сапоги. Сталь и кожа тоже проснулись, они полны новой жаждой. Парни, все как один, знают: только клятва погибнуть смертью героев может дать им красоту, богатство, хмель разрушения и высшее наслаждение.

Среди дня солдаты благодаря маскировке сливаются с природой. Они превращаются в изрыгающие огонь деревья, в несущие смерть кусты. А вечером их, вечно покрытых грязью, потных, с грубоватой приветливостью встречает казарма. Разрушения, учиненные днем,

ложатся на лица парней кровавым отсветом заката. Они чистят свое оружие и, вдыхая запах масла и кожи, сверяют впитавшуюся в их плоть варварскую поэзию с самоощущением синей черной массы зверей и минералов, которые составляют основу нашего мира. Ласковый голос отбоя своими легкими медными пальцами натягивает на лица грубые солдатские одеяла, меланхолично обдувает сомкнутые длинные ресницы, приносит сон. Солдатская жизнь пробуждает в человеке все истинно мужское, все героическое. Она похожа на устрицу, в которой под скорлупой таится сладкое и сочное мясо. Такова же и сладость души солдата: решимость вместе жить и вместе погибнуть украшает внешнюю суровость солдата лучше любых галунов... Есть такой как бы закованный в панцирь жук – носорог называется, – так вот он питается только сладким соком растений.

Крупп. А в чем, собственно, миссия ваших штурмовых отрядов?

Рем. Революция. Вечно обновляющаяся революция. СА – это своего рода судно-земле-черпалка. Это мощный кран, который соскребает с морского дна всю грязь и углубляет его. И потом по фарватеру могут проходить большие океанские корабли.

Крупп. Однако вместе с грязью ваша землечерпалка поднимает со дна и трупы.

Рем. А нередко и тех, кто еще жив. Господин Крупп, мы черпаем нашим мощным стальным ковшом всякую гнусь и мерзость – порок, загнивание, реакцию, безделье, интернационализм. И не прекратим работу до тех пор, пока не вычистим всю эту грязь до конца.

Крупп. И делаете вы это для того, чтобы следом могли пройти большие корабли?

Пауза. Доносится рев толпы.

Во всяком случае, я понял одно. Для вас, Рем, самое важное – армия... Но ведь так же считает и Гитлер?

Рем. В дни боев, в Мюнхене, он был мне верным товарищем по оружию... Это ничего, что Адольф нынче заделался таким франтом. Он и теперь мой товарищ по оружию.

Резко поднимается, идет на балкон и вновь встает справа от Гитлера, спиной к залу.

Гитлер...Итак, господа, великая борьба германского народа вступила в новую стадию. Красная угроза искоренена, и наш бульдозер провалился в ровную и просторную долину. На новом этапе первоочередной нашей задачей становится воспитание. Такое воспитание, которое позволит нам выковать германца, достойного новой великой Германии. Нам не нужна больше вся эта малокровная, пустословящая профессорская братия. Не нужны больше хилые, не способные держать винтовку, самовлюбленные, раздражающиеся истеричными пацифистскими воплями импотенты-интеллигенты! Не нужны антинародные учителя, вбивающие детям в головы космополитические бредни, отрицающие и искажающие историю родины! Немецкий учитель должен воспитывать наших юношей так, чтобы они росли мужественными и прекрасными, как бог Вотан, чтобы могли, оседлав белоснежного коня, взмыть на нем в самое небо. Верно я говорю?... Каждый из вас, людей сознательных, должен стать таким учителем. Вы должны воспитывать те миллионы немцев, которые еще не стали преданными бойцами партии. В день, когда эта задача будет выполнена, национал-социалистическая революция обретет незыблемость скалы.

Во время этой речи Крупп опять сидит со скучающим видом. Подает знаки Штрассеру. Тот наконец подходит, и после слов Гитлера «незыблемость скалы» зрители слышат диалог Штрассера и Круппа.

Штрассер. У вас дело, господин Крупп?

Крупп. Да нет. Просто странно видеть, как вы и Рем, кошка с собакой, столь идиллически, будто в прежние времена, стоите рядышком, справа и слева от Гитлера.

Штрассер. Мне и самому странно. Гитлер давно уж меня близко к себе не подпускает, а тут вдруг ни с того ни с сего вызвал. Приезжаю – а он, оказывается, и Рема пригласил. Так и косимся с ним исподлобья друг на друга. И еще эта вечная манера Гитлера: стой и жди, пока он закончит свои бесконечные словоизлияния, а дело – потом. Чувствую, что весь разговор о важном займет две-три минуты. Правда, о чем пойдет речь, понятия не имею.

Крупп. М-да, ситуация... Ну а все-таки, милейший, о чем, по-вашему, может быть разговор?

Штрассер. Надеюсь, о том, как наконец раз и навсегда покончить с реакционными капиталистическими акулами вроде вас.

Крупп. Спасибо за лестный эпитет. Всякий, кто нуждается в моей помощи, считает своим долгом обзывать меня нехорошими словами. Какая спокойная жизнь настала после того, как два года назад Гитлер дал вам укорот. Мы помогли доктору Шахту, спасли партию нацистов от банкротства, выплатили ее долги – впрочем, не столь уж значительные. Полагаю, сегодняшним своим положением партия в немалой степени обязана нам. Вас же, Штрассер, в деловых кругах называют «кумиром голодранцев». Разве можно экономику страны отдавать на растерзание субъекту, который только и умеет, что рабочих баламутить?

Штрассер. А вам, господин Крупп, не кажется, что вновь приближается мое время? Партия-то на волоске висит. Снова грядет тридцать второй год. Глядишь, судьба еще и сдаст мне козырную карту, нет?

Крупп. Что ж, возможно, возможно. Я понимаю, куда вы клоните, так что не трудитесь продолжать. Круппы иногда умеют становиться глухими.

Штрассер. Когда я демобилизовался из армии, то стал аптекарем и женился. Тогда-то и сформировалась моя идеология и ничуть с тех пор не изменилась. Позиция у меня всегда одна и та же – все дело в том, удобна она в данный момент Гитлеру или нет. Вы, господин Крупп, оружейник, а я – аптекарь. Конъюнктура – штука непостоянная. Есть время дырявить людям брюхо пулями, и есть время спасать людям жизнь. Лекарство, которым я торгую, действует безотказно, вылечивает даже обреченных. Ну есть, конечно, и побочные эффекты – отрицать не стану. Увы, придется вам ради идеи национал-социализма, ради страны расстаться с вашими заводами и землями. Оденем вас, господин Крупп, в спецовочку – боюсь только, видок в ней у вас будет так себе, – и научим токарничать. Даже перекур у вас будет – подымить дорогой сигарой.

Крупп. Партийные бонзы, значит, будут на «мерседесах» по виллам раскатывать, а бедный Крупп – гнущийся у токарного станка?

Штрассер. Именно, господин Крупп. Это-то больше всего и нужно Германии. Жаль только, Гитлер со мной не соглашается. Германия ждет от нас бескорыстного служения и решительных действий, а не болтовни. И такие люди, как вы, должны подать пример: вернуть стране военные барыши, распахать для народа свои закрома, забыть об охотничьих угодьях и прочих английских штучках, а вместо шампанского пить молоко с добрых немецких пастбищ.

Крупп. Молоко?! Да я от него заболею.

Штрассер. Помнится, и Рем говорил нечто подобное. Уж не мальчик, казалось бы, а все в солдатики играет... «Хочу вырастить таких парней, которые утоляют жажду только вином». Какое будущее ждет Германию с такими парнями? Рем у нас эталон мужественности – пьет как лошадь.

Крупп. А вы – любитель молока, да? Социалист, ратующий за крепкое, здоровое завтра? За молочно-белое будущее? Нет уж, слуга покорный, по мне, лучше умереть.

Гитлер...Взявшись за руки, вперед, в светлое будущее! Я поведу вас за собой! Я – ваш вождь, ваш впередсмотрящий. Я смету все преграды на вашем пути, обезврежу все минные

поля, мерная поступь вперед нашего могучего марша не будет нарушена ничем – я гарантирую это! Слава Германии! Слава Германии!

Штрассер уже на балконе, слева от Гитлера. Толпа скандирует: «Хайль Гитлер!» Крупп неохотно поднимается на ноги. Гитлер поворачивается лицом к залу. Он возбужден, вытирает пот с лица платком.

Крупп (*идет ему навстречу, протягивая руку*). Браво, браво. Это была отличная речь, Адольф.

Гитлер. Как реакция слушателей?

Крупп. Большого экстаза просто не бывает.

Гитлер. Вы оттого так говорите, что не видели толпы. (*Рему.*) Твое мнение, Эрнст?

Рем. По-моему, отличная реакция.

Гитлер. А ты видел там, в восточной части площади, под фонарем, женщину в желтой юбке? В самом важном месте моей речи она резко повернулась спиной и пошла прочь. Она нарочно надела яркую юбку, чтоб я ее заметил, нарочно встала на виду и ушла – демонстративно ушла! Еврейка. Я просто уверен...

Гитлер и Крупп садятся в кресла. Рем и Штрассер стоят чуть поодаль.

Чем дольше живу здесь, тем меньше нравится мне эта резиденция – мрачное, угрюмое здание. А я так рвался сюда, хотел, чтобы здесь был мой дом, – самому не верится... Впрочем, к делу. Спасибо, господин Крупп, что пришли. Как видите, я вызвал двух своих старых товарищей. Переговорю с ними, а потом мы не спеша с вами побеседуем. А пока отдохните немного, посидите в приемной, хорошо?

Крупп. Как прикажете, господин канцлер. Но не забывайте, пожалуйста, что человек я старый и что время мое ограничено.

Встает и оценивающе смотрит на Рема и Штрассера.

Гитлер. Эрнст, ты – первый.

Крупп и Штрассер выходят. Рем с радостным видом подходит к Гитлеру и жмет ему руку.

Рем. Как я рад, Адольф. Это была мощная, красивая речь. Ты – настоящий художник.

Гитлер. Ты хочешь сказать: художник, но не солдат?

Рем. И это тоже. Господь Бог назначил каждому свою роль: Адольф – художник, Эрнст – солдат.

Гитлер. Как дух твоих парней?

Рем. Их дух зависит от тебя, Адольф.

Гитлер. Об этом после. Из-за всех этих заседаний давно не было времени толком поговорить с тобой. Но я вижу, ты все так же бодр, молод, энергичен. Тебя что, как Вотана, поят священным медом? Хорошо, что ты пришел. Знаешь, так захотелось послать к черту все эти государственные дела и просто поговорить со старым добрым другом о минувших днях.

Рем. О двадцатых, да? Десять лет прошло... Легендарная эпоха – эпоха борьбы.

Гитлер. Когда я в первый раз встретился с тобой – в Мюнхене, помнишь? – я почувствовал сразу: это – товарищ. Господин капитан Эрнст Рем из штаба Мюнхенского военного округа... Помню, я вытянулся по стойке «смирно» и отсалютовал. (*Отдает честь.*)

Рем (*весело улыбаясь*). Ефрейтор Гитлер, я объясню вам, как важна поддержка военных для создания партии, как необходима армейская дисциплина для партийной организации, как полезно знание стратегии для партийной политики. Отныне моя жизнь и моя судьба принадлежат вам... Так поклялся я тогда самому себе. И клятву исполнил. Я привлек на твою сторону военных, на деньги из секретного армейского фонда купил для тебя газету. Я собирал добровольцев и резервистов, учил тебя азбуке военных наук, я шел с тобой плечом к плечу через все бури той эпохи обмана и предательства.

Гитлер. Ты, Эрнст, всегда был храбрецом.

Рем. Иногда, правда, нас заносило.

Гитлер. И сейчас заносит.

Рем (*делая вид, что не расслышал*). А как здорово мои штурмовики всыпали красным на митинге в «Хофбройхаузе» в ноябре двадцать первого! Расписали мы их бледные хари под цвет их знамени.

Гитлер. А помнишь историю с сапогом? Крысу Адорста помнишь?

Рем. С сапогом? Еще бы! Еле ноги унесли после очередной передраги. Смотрю на себя – вроде цел. Сам-то цел, а сапог смертельно ранен на поле брани!

Гитлер. Ну да, носок прострелен, и подметка разевает пасть.

Рем. Я хотел к сапожнику бежать, а ты говоришь: «Нет, стой».

Гитлер. Я сразу понял: героический сапог командира штурмовиков – это же памятник славной борьбы, он еще пригодится поднимать дух бойцов. Ты себе купил новые сапоги, а я твой старый, простреленный, отполировал как следует и поставил в наш штаб, на полку.

Рем. А потом какая-то сволочь сунула в сапог кусок сыра.

Гитлер. Жалко, не нашли кто. Какой-нибудь еврей.

Рем. Ага, сунул в сапог сыра! Как-то раз, ночью, захожу я в штаб, вдруг слышу – кругом тишина, а откуда-то: хруп-хруп, хруп-хруп. Смотрю: из дыры в сапоге крысиная морда высывается.

Гитлер. Ты рассвирепел, хотел ее немедленно прикончить.

Рем. А ты опять: «Нет, стой».

Гитлер. Кто подложил сыр – вопрос особый. Но мужественная крыса, с риском для жизни пробравшаяся в твой исторический сапог, показалась мне хорошим предзнаменованием, предвестницей удачи.

Рем. И с тех пор ты велел каждый вечер подкладывать в сапог по кусочку сыра.

Гитлер. Крыса мало-помалу привыкла. Помнишь, сидим мы с тобой вдвоем, беседуем ночь напролет, а она вылезает, бесстрашно подбирается поближе и сидит смотрит. Я решил, что пора дать ей имя.

Рем. Я как-то прихожу, а у нее на шее зеленая ленточка. На ленточке написано: «Эрнст». Разозлился – страшное дело. (*Оба хохочут.*) Но виду не подал. А на следующий день приходишь ты в штаб...

Гитлер. Пришла моя очередь беситься. У крысы на шее красная ленточка, и написано: «Адольф». (*Хохочут.*) Скандал, драка! Десять лет... да, каких-то десять лет назад мы были еще достаточно молоды, чтобы устраивать казарменные розыгрыши и драться... Ну, мне с тобой было, конечно, не справиться. И я предложил компромисс. С тех пор крыса носила белую ленточку, на которой красовалась надпись: «Адорст». Из Адольфа и Эрнста получилась крыса по имени Адорст.

Рем. Да-а, крыса Адорст... До такого и братья Гримм не додумались.

Гитлер. Занятная была крысенция.

Рем. А куда она потом-то делась?

Гитлер. Исчезла куда-то.

Рем. Наверно, сдохла.

Гитлер. Скорее всего. (*Поет.*) Вместе погибнуть...
Рем (*подхватывает*).

...вместе сражаться
Взявшим винтовки на этом пути.
В битве кровавой пусть загорятся
Алые маки на нашей груди...

Мы часто пели тогда эту песню. Сильная была песня. Музыка и слова Адольфа Гитлера. Почему ты теперь не позволяешь партийцам ее петь?

Гитлер. Не валяй дурака. Студентом, в Вене, я и оперу пробовал писать, мало ли что.

Рем. «Кузнец Виланд». Так она называлась, да? А куда ты дел партитуру?

Гитлер. Весной я часто ходил гулять в Венский лес один. Как-то раз дошел даже до перевала Зоммеринг. И бросил нотные листы с кручи – их развеял ветер. Альпийские долины были еще покрыты снегом, и моя музыка медленно кружилась, падая вниз. Листки, упавшие на снег, терялись на белом. Зато те, что попали на первые весенние проталины, казались сверху эдельвейсами... Эх, Эрнст, по-настоящему мне следовало бы посвятить свою жизнь искусству.

Рем. Превосходно! Адольф – человек искусства, Эрнст – человек военный. Возьмемся за руки – и вперед.

Гитлер. Ты полагаешь, такое возможно и сейчас?

Рем. Конечно возможно.

Гитлер. Ну-ну... Да, жаль, что я оставил искусство. Подобно великому Вагнеру, я крепко держал бы кастрюлю этого мира за ручки, имя которым Смерть и Тщета. Я бы вываливал страсти представителей людского рода на сковороду и, как опытный повар, поджаривал бы их на вечном пламени великана Сурта. Это занятие куда более приятное, да и славу бы я приобрел куда более лестного свойства. А то стал канцлером и слышу, как по углам шепчутся: «Происхождения самого низкого, и образования, образования – практически никакого!...» Я хочу, чтобы ты, Эрнст, вспомнил, чему ты учил меня, что вдалбливал в мою голову, когда был капитаном?

Рем. Что?

Гитлер. Ты же сам только что сказал: «Как важна поддержка военных для создания партии». Вот чему ты меня научил.

Рем. Ну и что?

Гитлер. Вот и воскреси в памяти свой собственный урок.

Рем. Теперь дела обстоят иначе.

Гитлер. Нет, законы политики всегда неизменны.

Рем. Ладно, давай начистоту. Конечно, ты прав: поддержка военных необходима, была необходима тогда, необходима она и сейчас. Но в те годы ты стремился обрести ее в интересах партии, а теперь она тебе нужна для самого себя. Ты хочешь стать рейхспрезидентом. Гинденбург на ладан дышит, ему и до осени не дотянуть.

Гитлер. Не говори так, Эрнст. Это слова политического врага. Товарищи говорят между собой другим языком.

Рем. Хорошо, давай другим. Пускай ты станешь преемником фельдмаршала Гинденбурга. Я – за. Я помогу тебе в этом всем, чем смогу. За тобой стоит новая армия – три миллиона штурмовиков.

Гитлер. Вот я и...

Рем. Не перебивай. Но я не хочу, чтобы ты стал преемником коррупции и реакции. Я не хочу, чтобы ты стал рейхспрезидентом, торгуя идеей, чтобы ты предал нашу новую Германию, созданную нами с таким трудом! Не хочу, чтобы ты опирался на всю эту свору – на капитали-

стов, юнкеров, дряхлых консерваторов и дряхлых генералов, на бездарных снобов-аристократов, задиравших передо мною носы в офицерском клубе, на прусских вояк – белоподкладочников, которым нет дела до революции и народа, на жирных лавочников, которые с утра уже ругают пивом и жареной картошкой, на чиновников с наманикюренными ноготками! Таким путем идти ты не должен. Я сдохну, но не допущу этого!

Гитлер. Эрнст!

Рем. Нет, ты слушай! Я хочу, хочу, чтобы ты был рейхспрезидентом. От всего сердца хочу. Но сначала давай вместе сметем весь мусор с этой прогнившей земли. Что такое эта твоя военщина? Они грозны только на словах – пустые чучела, одетые в мундиры и сверкающие позументами. В Германии есть только одна армия – революционная. Это мои отряды СА, три миллиона бойцов... Ты только послушай, Адольф! Когда закончится великая чистка, мы застелем белоснежным ковром всю главную площадь Берлина и на ней провозгласим тебя рейхспрезидентом. Не забывай – революция еще не окончена. Будет новая революция, и после нее Германия возродится по-настоящему. Знамя со свастикой, раздуваемое свежим ветром, будет реять над юной, возрожденной страной Вотана, которая скинет с себя гниль и нечисть. Это будет страна ясноглазых, прекрасных, мужественных воинов, крепко взявшихся за руки – могучие, словно ветви дуба. И вождем этого государства будешь ты, Адольф. Вот какая ослепительная судьба уготована тебе. Ради этого я не пожалею и жизни.

Гитлер. Благодарю, Эрнст. Я тебя понимаю. И не сомневаюсь в твоей искренности.

Рем. Не связывайся с армейскими.

Гитлер. Ты хочешь сказать, что если ты из армии ушел, то это уже не армия?

Рем. Именно. У тебя есть армия штурмовиков.

Гитлер. Но армия все-таки продолжает существовать. Ведь ты не станешь этого отрицать?

Рем. В этой армии я разочаровался.

Гитлер. Разочаровался ты в ней или нет, она все равно существует. И ничего тут не поделаешь.

Рем. Ну если можно называть армией армию, лишенную революционного духа.

Гитлер. Раз оружием бряцает, значит армия.

Рем. Не забывай, Адольф, это я научил тебя всему, что ты знаешь об армии.

Гитлер. Ладно, ладно, Эрнст, не заводись. Надеюсь, ты тоже не забыл, сколько я сделал для твоих штурмовых отрядов – и как друг, и как боевой соратник. Ты сам все развалил... Нет уж, теперь ты послушай. С самого начала ты мечтал влить СА в армию, превратить штурмовиков в ядро рейхсвера. Ты верил: впервые в истории у Германии будет народная, революционная армия. Так?

Рем. Да, так. Но замшелые генералы...

Гитлер. Брось, у тебя тоже ошибок хватало. Что вытворяют твои штурмовики уже второй год? И нечего удивляться, что военные от вас нос воротят. Кто устраивает в подвалах и гаражах тайные штаб-квартиры? Кто занимается похищениями, пытками, берет выкуп за заложников? Я слышал, что один из твоих молодцов арестовал соперника в любовных шашнях, привязал его в подвале к столбу и изрезал на куски!

Рем. Это все мелочи, болезнь роста. Молодым парням понравилось играть в гестапо. Я сейчас натянул поводья, и с подобными делами покончено.

Гитлер. Хорошо, болезнь роста. Но скажи мне, Эрнст, – только давай уж начистоту – разве твои СА не огромная ностальгическая химера?

Рем. То есть как?

Гитлер. Три миллиона бойцов – это мощная политическая организация, тут спору нет. Но разве ты не видишь, что занимаются эти три миллиона одной только игрой в солдатики, столь милой их сердцам? Ты тоскуешь по старым добрым армейским традициям – это я могу понять. Но зачем ты отравляешь своей ностальгией этукую прорву молодых парней? Штурмо-

вики грезят не о будущей войне, а о прошедшей. Та война проиграна, а все ваши затеи – просто попытка оживить воспоминания о славном фронтовом товариществе, о развеселых и бесшабашных ночах во время отдыха в тылу. Эти ваши допотопные боевые учения, эти дурацкие парады в мундирах, со знаменами. А потом непременно в пивную, и чтоб все стекла в ней – вдребезги. Орать дурными голосами боевой гимн, устраивать потасовки. А под занавес специально назначенные дежурные подберут сомлевших бойцов. В уставе, что ли, у вас записано: куролесить всю ночь, пока фонари на улицах не погаснут? Слишком много от твоих парней шума – порядочным гражданам они вот как надоели. Как завидят поблизости штурмовиков, сразу дочерей прячут подальше.

Рем (*насутившись*). Нельзя обо всей организации судить по нескольким шалопахам.

Гитлер. Ладно, оставим и это. Давай о тебе самом. Ты же сам как будто специально настраиваешь общество против СА! Сколько раз защищал я твоих штурмовиков перед военными, перед Герингом, который представляет интересы армии. Я сделал тебя членом кабинета, в феврале я провел закон, согласно которому штурмовики, получившие увечье в политических схватках, приравниваются по пенсионным льготам к инвалидам великой войны. Ты видел, чего мне это стоило, ты же все время был рядом! И что же? Сразу после этого ты выкинул номер. Самый что ни на есть идиотский поступок, да еще в самый неподходящий – в политическом смысле – момент! Ты предлагаешь на заседании кабинета законопроект: провести реорганизацию рейхсвера, взяв за основу СА, а для управления вооруженными силами, включая все иррегулярные формирования, учредить пост специального министра. Кресло министра, разумеется, должен занять ты. В результате военный министр фон Бломберг сделался твоим заклятым врагом, а вся армейская верхушка переполошилась. Я немедленно провалил этот твой «законопроект», но было уже поздно. Армия теперь тебя ненавидит. И это целиком и полностью дело твоих рук. Генералы поняли: этот человек не успокоится, пока не одолеет их и не устроит новую революцию.

Рем. Смотри-ка, не такие уж они, выходит, кретины.

Гитлер. Это не шутки, Эрнст. Дело принимает скверный оборот. Я получил от генерала фон Бломберга ультиматум. Считай, что это мнение всего генералитета, вопль прусской армейской традиции. На, читай. (*Достает из кармана лист и протягивает Рему.*)

Рем (*читает*). «Его превосходительству господину рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру надлежит ответить, способен ли он незамедлительно разрешить нынешний политический кризис собственными средствами, или же предпочтительнее просить рейхспрезидента ввести в стране чрезвычайное положение с передачей функций управлению командования рейхсвера...»

Гитлер. То есть выбирай, мол, сам.

Рем. Выбирай сам?

Гитлер. Да. Причем «незамедлительно»...

Рем. Это же открытое запугивание! Шантаж! Да у них на такое...

Гитлер. Пороху не хватит, хочешь ты сказать? Я бы тоже желал на это надеяться. Но не знаю, как насчет пороху, зато уж исконного прусского гонора у них предостаточно. Раз они зашли так далеко, то не отступят.

Продолжительная пауза.

Рем (*порывисто встает и обнимает Гитлера за плечи*). Адольф, надо решаться. Для нас, для партии наступает звездный час. Никаких компромиссов! Иначе наше движение, ради которого мы поставили на карту свои жизни, навсегда запятнает себя грязью... Адольф, давай вернемся к нулевой отметке, давай начнем все заново! Я буду рядом с тобой. Ты же знаешь, Адольф, я всегда с тобой!

Гитлер (*ошарашенно*). Да-да, ты всегда со мной...

Рем (*рывком поднимает Гитлера из кресла и тащит за собой по сцене*). Нужно устроить новую революцию. Воскресить молодой мюнхенский задор. Иначе нас не простят души павших боевых товарищей. Народ пойдет за нами. Молодежь – наша.

Жалкие угрозы этого старья лопнут как мыльный пузырь – в одночасье! И не забывай, Адольф, в Германии шесть миллионов безработных. Их недовольство, их обида – тоже наш капитал. (*Тянет Гитлера на балкон.*) Взгляни! Взгляни же! Вон на тех скамейках, и на тех, и еще на тех сидят молодые мужчины с унылым и скучающим видом. Такими когда-то были и мы стобой. Прямо с фронта судьба швырнула нас в пасть голода и инфляции. Мы-то с тобой знаем, какое это мощное топливо – молодость, нищета, безнадежность. Давай снова подпалим этот жалкий хворост! Знаешь, какой полыхнет огонь! На всю Германию. И он станет всепожирающим огнем Сурта.

Гитлер (*отворачиваясь от балкона, пятится вглубь сцены*). Нет, Эрнст, не заманивай меня. Не надо. Не искушай вновь испить этого сладкого, жгучего вина.

Рем. Все в твоих руках, Адольф.

Гитлер (*наконец высвобождается из объятий Рема и садится в кресло спиной к собеседнику. Говорит, не глядя на него*). Ты кое-что забыл, Эрнст. Один очень важный урок, который забывать не следовало бы. Делать армию своим врагом нельзя. Ты помнишь двадцать третий год? Как я уламывал генерала фон Лоссова, а он так и не выдал нам оружия? И заявил: если мы начнем затевать беспорядки, армия и полиция откроют по нам огонь. А мы уже объявили сбор и мобилизовали двадцать тысяч штурмовиков. Помнишь, как мы стояли и смотрели на марширующие через центр города колонны красных, а поделаться ничего не могли? Даже те ружья, которые тебе удалось захватить в казармах, после приказа генерала мы были вынуждены вернуть. Мы сдались, Эрнст.

Рем молчит.

Гитлер. Поразмысли над этим сегодня ночью, Эрнст. И я тоже поразмыслю. Встретимся за завтраком, и я расскажу тебе, к каким выводам пришел... Эй, там в приемной ждет Штрассер. Пусть войдет.

Рем выходит. Гитлер погружен в раздумья. Появляется Штрассер.

Штрассер. Господин рейхсканцлер...

Гитлер. А-а, давно не виделись, давно. Прошу сюда.

Штрассер. Как прикажете.

Гитлер. Спасибо, что пришли. Вспомним нашу старую дружбу. У отшельников времени для раздумий много, поделитесь-ка со мной светлыми идеями.

Штрассер. Господину рейхсканцлеру прекрасно известно, что новым идеям у меня взяться неоткуда. Я – как попугай, все талдычу про одно и то же. Про идеи, от которых ничего не осталось.

Гитлер. Так-таки ничего?

Штрассер. Абсолютно. Куда подевалась программа партии? Где идеи борьбы с капитализмом, упразднения Пруссии, замены рейхстага самостоятельным форумом фашистского движения? Все осталось по-старому.

Гитлер. Так. И что?

Штрассер. Ничего. Просто констатирую: все осталось, как было раньше. По-прежнему плачут дети рабочих. Ничего не изменилось.

Гитлер. И есть какой-нибудь конкретный план, как все исправить?

Штрассер. План? Нет, плана нет. Но есть идея. Во всяком случае, у меня.

Гитлер. И каковы же пути осуществления идеи?

Штрассер. Меня сюда что, экзамен сдавать пригласили? Я уже не в том возрасте.

Гитлер. Дело в том, что стоящие за вами профсоюзы тоже придерживаются идеи, не так ли? Доктору Шмидту, министру экономики, приходится с вами несладко. Жалуется на вас, говорит, что левая фракция нашей партии ничем не отличается от красных.

Штрассер. Но армия, кажется, так не считает.

Гитлер. Вы уверены? Под «армией» вы, очевидно, имеете в виду старого дурака фон Шлейхера?

Штрассер. Не только его. Я имею в виду армию как таковую.

Гитлер. Надо же, как вы осведомлены о настроениях в армии.

Штрассер. Армия – клинок обоюдоострый. Как знать, может быть, именно ей суждено осуществить преданную забвению программу партии.

Гитлер. Штрассер, дружище, в ваших словах мне слышится зубовный скрежет. К чему это?

Штрассер. Что поделаешь – страстная убежденность не выбирает выражений.

Гитлер. Вот как? Так вас одолевают страсти?

Штрассер. О да.

Гитлер. Так-так. Разузнали что-нибудь интересное?

Штрассер. Кое-что. Например, об ультиматуме министра обороны Бломберга...

Гитлер (*пытаясь скрыть удивление*). У вас отличные осведомители.

Штрассер. Если будет введено чрезвычайное положение...

Гитлер. Ну, этого я не допущу.

Штрассер. А если придется? Как вы думаете, к кому обратится армия за политической поддержкой? К полутрупу рейхспрезиденту? Или, может быть, к вам, господин рейхсканцлер?

Гитлер. Откровенно говоря, думаю, что не к нему и не ко мне.

Штрассер. А что, если она обратится ко мне?

Гитлер. Самообольщение.

Штрассер. Возможно. И все-таки я бы на вашем месте подстраховался на случай такого казуса и кое-что предпринял.

Гитлер. Что же?

Штрассер. Это уж вы сами соображайте. Если, конечно, хотите при поддержке армии стать рейхспрезидентом.

Гитлер. Вы хотите сказать, что можете этому помешать?

Штрассер. Ну, этого я не говорил.

Гитлер. Надо же, как я ошибался. Я считал вас человеком цельным. А оказывается, социалист при случае может и с генералами торговаться, а?

Штрассер. Это уж домысливайте сами. Ясно одно: если так пойдет дальше, партия расколется и погибнет. Надо немедленно что-то делать.

Гитлер. Что?

Штрассер. Воскресить дух партийной программы. Встать на сторону рабочих, строить национал-социализм.

Гитлер. Мы тратим время впустую.

Штрассер. Что же, так или иначе решать господину рейхсканцлеру.

Гитлер. Хорошо. Спасибо за совет.

Штрассер. Что вы, что вы. Не за что.

Гитлер. Жду вас на завтрак. Я постараюсь до того времени что-нибудь придумать и сообщу вам о своем решении.

Штрассер. Отлично. Значит, до завтра.

Штрассер уходит. Гитлер в одиночестве раздраженно прогуливается по сцене. Выходит на балкон и останавливается, повернувшись к зрителям спиной. Появляется Крупп.

Крупп. Уже освободились?

Гитлер. А-а, господин Крупп.

Крупп. Что, дождь пошел?

Гитлер. Заморосило. Поразительно – всякий раз после моей речи обязательно идет дождь.

Крупп. Надо полагать, ваши речи способствуют сгущению туч.

Гитлер. Как только мостовая на площади почернела от дождя, все скамейки разом опустели. На редкость вульгарное зрелище – опустевшая площадь. Ни души. А ведь совсем недавно тут было целое море голов – крики, аплодисменты. Площадь после митинга напоминает оцепенение эпилептика после припадка... Везде, куда ни глянь, люди причиняют друг другу зло, ранят один другого. В ткани, из которой соткана любая власть, есть швы, через которые лезут вши. Скажите мне, Крупп, бывает ли власть без швов, неуязвимая власть, подобная белому рыцарскому плащу?

Крупп. Если и не было – закажите. Вам сошьют.

Гитлер. И вы согласны стать моим портным?

Крупп. Надо бы сначала мерку снять.

Отступает на шаг и, подняв трость, делает вид, что снимает мерку.

Гитлер. Ну и как?

Крупп. Увы, на глаз не получается.

Гитлер. Квалификации не хватает?

Крупп. Уж больно деликатная у портного профессия, Адольф. Если не уверен, что заказ оплатят, работа не идет. Хочется сшить столько всяких чудесных вещей, но без точной мерки разве получишь истинное творческое наслаждение? Да и потом, сшитое платье должно ведь прийтись заказчику впору. Чтобы он чувствовал себя в нем легко, свободно, чтоб нигде не жало, не тянуло. Вот как шить-то нужно... Никогда себе не прощу, если одежда выйдет тесной. Не смирительную же рубашку для сумасшедшего шить – сами понимаете.

Гитлер. Если я и сумасшедший...

Крупп (*слегка коснувшись его плеча*). Сомнения в здравости собственного рассудка посещают и меня! Бывают такие моменты, когда лучше сказать: «Я – сумасшедший», иначе невозможно вынести и понять самого себя...

Гитлер. А что потом?

Крупп. А потом надо сказать себе: «Это они все сумасшедшие, а я нормальный».

Гитлер. Кажется, я переживаю именно такой момент. А если вспомнить, что я глава правительства...

Крупп. Странная вещь: перед дождем у меня всегда приступ ревматизма, а сегодня почему-то не было.

Гитлер. Господин Крупп, я хочу заказать смирительную рубашку. Сшейте мне ее так, чтобы руки у меня были скручены и я не мог никого ранить. Но уж зато чтобы и меня никто не мог достать.

Крупп (*покачивая головой, идет прочь*). Нет-нет, Адольф. Еще рано, рано, рано...

Занавес

Действие второе

Следующее утро. Декорация та же. В центре сцены – стол, накрытый к завтраку на троих. Гитлер и Рем только что закончили есть: тарелки пусты, они пьют кофе и курят. Стол позднее будет убран, поэтому его ножки должны быть на колесах. Дверь на балкон открыта, через нее в зал льется утреннее солнце, виден край ясного неба.

Гитлер. Отличное утро. Все как в старые добрые времена... Эх... Хоть бы раз в месяц иметь возможность посидеть вдвоем, без посторонних, попить кофейку, покурить...

Рем. Остальные члены кабинета полопаются от зависти... Давай к делу, Адольф. У тебя, конечно, тоже лишнего времени нет. Перед тем как расстаться, уточним еще раз – все как договорились.

Гитлер. Мы не договаривались, Эрнст. Это приказ.

Рем. Ну, приказ, приказ – я же понимаю. Не в первый раз.

Гитлер. Формальную сторону предоставляю тебе. Итак, я приказываю, чтобы СА, все три миллиона бойцов, получили отпуск. До конца июля. Во время отпуска формы не носить, маршей и учений не устраивать – это запрещается. Ты напишешь соответствующее распоряжение... Вот, собственно, и все.

Рем. А ты уверен, что рейхспрезидент до конца июля отдаст богу душу?

Гитлер. Он совсем плох. Немецкие врачи, равных которым нет во всем мире, утверждают, что до августа ему никак не дожить.

Рем. Хорошо. Значит, до той поры – политическое затишье... Я тоже много думал этой ночью и понял: только твой светлый ум способен вывести нас из этой передрыги. Пока ты не станешь президентом, мы затаимся – пусть впавшие в истерику генералы подуспокоятся. Это компромисс, с которым я могу согласиться.

Гитлер. Спасибо, Эрнст. Ты настоящий друг.

Рем. Да и время подходящее. Лето – пусть мои сорвиголовы малость расслабятся, поднаберутся сил в родных местах. Неплохая передышка перед грядущей осенней сварой. Если с улиц исчезнут коричневые рубашки и марширующие колонны, военщина почувствует себя в безопасности. Генералы убедятся, что ты полностью контролируешь ситуацию. А народ за лето пусть почувствует, каково это – остаться без нас. Будут дни считать до нашего возвращения.

Гитлер. Именно. Дадим нашему суфле подостыть, охладим раскаленную сталь. Когда я стану рейхспрезидентом, отдать в твое ведение армию будет легче легкого. Надо лишь набраться терпения. Прошу тебя: прояви такую же выдержку, как и я. Хоть зовемся мы с тобой теперь красиво – «рейхсканцлер», «член кабинета», – на самом-то деле положение наше аховое. Трудные, дружище, времена – как в двадцать третьем. Ну да ничего, когда взвалишь на себя тяжкую ношу не один, а с верным товарищем, то и пот, льющий с тебя ручьем, блестит по-другому. Хорошим, мужественным блеском... Эрнст, никогда еще я не доверялся тебе так, как сейчас. Если мы с тобой на пару, плечо к плечу, прорвемся...

Рем. Я все понял, Адольф.

Гитлер. Спасибо, старина.

Рем. Только вот что. Такой длительный отпуск ни с того ни с сего... Как бы мои парни не забеспокоились. Хорошо бы найти какой-нибудь предлог...

Гитлер. Стоп. Я об этом думал. Значит, так. Ты у нас заболел, и...

Рем (*со смехом*). Я? Заболел? (*Хлопает себя по груди, по плечу.*) Капитан Рем? Который с рождения не знал лекарств и докторов? Да я здоров как бык, крепче железа!

Гитлер. Именно поэтому.

Рем. Брось, Адольф. Кто в это поверит? Да меня лишь пуля может свалить. Мой железный организм погибнет только от маленького кусочка такого же железа – и ни от чего другого. Вот когда одно железо вопьется страстным поцелуем в другое, тогда я рухну. Но рухну не на постель, это уж точно.

Гитлер. Конечно, Эрнст. Такой храбрец, как ты, даже став министром, не способен встретить смерть в постели. И все же ты должен объявить себя больным и издать соответствующий приказ. Мол, пару месяцев подлечусь, а потом возьмусь за укрепление штурмовых отрядов с удвоенной энергией.

Рем. Никто же не поверит.

Гитлер. В том-то вся и штука! Поверят. Люди легче верят самому неправдоподобному. Штурмовики решат, что, видно, и впрямь дело серьезное.

Рем. Может, ты и прав. Ну а что мне делать?

Гитлер. Поезжай-ка на озеро Висзее. Там на берегу отличные отели – отдохнешь, развеешься.

Рем (*мечтательно*). Висзее... Райское местечко. Уголок, достойный быть местом отдыха только для истинных героев. (*После паузы.*) Хорошо. Сегодня же издам приказ, а вечером – в Висзее. Распоряжусь, чтобы из гостиницы «Ханзельбауэр» сегодня же выставили к черту всех постояльцев.

Гитлер. Правильно, дружище. Теперь давай прикинем, как составить приказ.

Рем. Погоди. Дай кофе допить. (*Декламирует.*) «В день окончания вашего отпуска, первого августа, отряды СА, преисполненные героизма и отваги, с новой силой возьмутся за славное дело, которого ожидают от нас отчизна и народ».

Гитлер (*в некотором замешательстве*). Что это, начало такое?

Рем. Ну да. А в самом конце еще так напишу: «Штурмовые отряды были, есть и будут судьбой Германии». Ничего, а?

Гитлер. Сойдет, наверное.

Рем. Ты же знаешь, Адольф, без твоего согласия я ничего не сделаю.

Гитлер. Да нет, я согласен, согласен.

Рем. Ты ведь понимаешь, как-никак я – командующий трехмиллионной армией.

Гитлер. Я все понимаю, Эрнст.

Рем. Конечно. Мы ведь друзья... Нет, но какая скотина Штрассер, а? Пренебречь приглашением на завтрак к рейхсканцлеру!.. Ну и черт с ним, мне так даже лучше. Хоть посидим с тобой попросту, с глазу на глаз – в кои-то веки.

Гитлер. Штрассер есть Штрассер. Попробовал меня припугнуть, а когда понял, что навару не будет, снова забился в свою щель. Плетет паутину, заговор – ячеечка к ячейке. Наш отшельник слишком занят, ему не до нашего общества.

Рем. Если он намерен помешать тебе стать президентом, я ему шею сверну. Этого болтуна давно пора прикончить. А если рабочие зашебуршатся, мои ребята им быстренько глотки позатыкают. Неужели этот ублюдок вчера тебе угрожал?

Гитлер. Да, в общем, нет.

Рем. Смотри. Если что – только скажи. Я его мигом уберу.

Гитлер. Спасибо, старина. Я непременно обращусь к тебе. Ну, всего тебе. (*Встает.*)

Рем. Счастливо, дружище. Спокойно занимайся делами. У тебя их такая прорва, этих бумажных дел, что у вояки башка бы треснула. Да и у художника тоже, а? Давай работай. Старые бараны, вскормленные на бумажках, ждут, чтоб ты подсыпал им корма. Эх ты, бедолага, с утра до вечера только и делаешь, что свою подпись выводишь. Вся сила из руки уйдет, как потом саблей махать, а? Эх, да что там власть, что там сила. Легкий нажим хилых пальцев, ставящих на бумажке росчерк, – вот во что превратились теперь власть и сила.

Гитлер. Я все понял, Эрнст. Можешь не продолжать.

Рем. Нет, друг, дай я договорю. Не забывай, что твоя настоящая мощь не в пальцах с авторучкой, а в стальных мышцах молодых парней, следящих за каждым твоим словом и движением с обожанием, готовых в минуту опасности без колебаний отдать за тебя жизнь. Когда заблудишься в административно-политических дебрях, положишься на крепкие бицепсы, покрытые сеткой голубых, как рассветное небо, вен, – бицепсы прорубят тебе тропу через любую чащу. Во все эпохи и времена истинный, глубинный источник власти – мускулы молодежи. Не забывай об этом, Адольф. И о друге не забывай, человеку, который хочет сохранить для тебя эту мощь и заставить ее работать только в твоих интересах.

Гитлер (*протягивая руку*). Как я могу забыть, Эрнст.

Рем. И я не забуду, Адольф.

Гитлер. Ну, мне нужно идти.

Рем. Да, Штрассера ждать уже нет смысла. Хотя я бы с удовольствием запихнул ему в пасть остывший завтрак.

Гитлер. Кликни-ка официанта.

Рем. Давай я сам. Уподоблюсь великану Скрюмиру, таскающему за Тором суму со снедью.

Гитлер. А я думал, что ты – Зигфрид.

Рем. Ну ладно, великан пошел.

Толкает перед собой стол на колесиках.

Гитлер. Перестань. Члену кабинета не пристало таскать грязную посуду.

Рем. Ерунда, Адольф, не бери в голову.

Весело укатывает стол за сцену. Гитлер провожает его взглядом, потом поворачивается, чтобы уйти, но тут с балкона появляется Крупп.

Крупп. Адольф.

Гитлер. Доброе утро, господин Крупп.

Крупп. Доброе. Чудесный, ясный денек. Для старика я проявил чудеса циркового искусства, не правда ли? И заодно прогрел колено на солнышке. У меня, знаете ли, весьма своевольное колено, но сейчас оно очень довольное. (*Проходится по сцене, не опираясь на трость.*)

Гитлер. Что ж, рад за него.

Крупп. И потом, чувствуешь себя таким помолодевшим, когда украдкой поглядываешь и подслушиваешь. В моем возрасте и за пашнями-то собственной жены следить уже сил нет. От ревности пьянеешь, как от вина, соловеешь... Когда я по вашему предложению сделался акробатом и, спрятавшись на балконе, подслушивал ваш разговор, мне казалось, будто я присутствую на спектакле, а задача актеров – вернуть мне молодость. Поразительно, какую торжественность и романтичность событию придает подслушивание и подсматривание.

Гитлер. Вы, кажется, хотите сказать, что наш с Эрнстом разговор был чистым притворством и балаганом?

Крупп. О нет, вы, господин рейхсканцлер, были сама искренность. А уж старина Рем по части искренности даже брал через край. Его возвышенность и благородство чувств были уже даже не совсем приличны.

Гитлер. Я хотел, чтобы вы, господин Крупп, видели это собственными глазами. Вы ведь человек скептический, надо было показать вам, что в политике есть место и искренности, – когда нет рядом посторонних. Рем был не намерен уступать, но в результате пошел-таки на компромисс. Удовлетворит ли это военных?.. Я, честно говоря, не очень-то в это верю. То есть совсем не верю... Хотелось бы, конечно, надеяться.

Крупп. Ах, а как мне хотелось бы! Однако я человек старый, жить мне осталось недолго – я не могу позволить себе тешиться пустыми надеждами. Но скажите мне, Адольф, отчего это, когда Рем жизнерадостно увлакивал отсюда стол, вы провожали его таким неопишимо мрачным взглядом? Вы будто разом постарели на десять лет.

Гитлер (*вздвигнув*). Не слишком ли вы самоуверенны, господин физиономист?

Крупп. А что касается надежды, то ее в меня вселило не ваше воркование, а тот самый мрачный взгляд. Я достаточно ясно выражаюсь?

Гитлер. Господин Крупп!

Крупп. Вот такие дела, Адольф. Приближается буря. Ее не избежать. Вершины гор уже окутаны густым туманом, горные пастбища потемнели. Бедные овечки беспокоятся, блеют: «Бе-е-е, бе-е-е». Овчарки возбужденно лают, гонят стадо в загон... А в это время вы... Как бы это сказать... Вы ощущаете себя не той мощной бурей, а всего лишь лихорадочно мечущейся овчаркой. Отсюда и компромисс с Ремом. С этой овцой.

Гитлер. Это Рем-то овца? Слышал бы он...

Крупп. Ну, пусть не овца. Но сознание у него овечье, стадное. Или я не прав? И когда вы смотрели Рему вслед, ваше потемневшее лицо напоминало не овечью и даже не овчарчью морду – это была сама буря, ну а если и не буря, то, во всяком случае, первое ее дуновение, черное и обжигающее. Предвестие бури, которая вот-вот окрасит горные пики лиловым сиянием молний, заставит затрепетать от громовых ударов весь мир, а живую человеческую душу мгновенным электрическим разрядом обратит в кучку пепла. Неужто вы сами этого не ощутили?

Гитлер. Я ощутил страх. Смятение. Глубокую грусть. Вот и все.

Крупп. Что ж, человеку не следует стыдиться естественных человеческих чувств, даже если этот человек – рейхсканцлер. Но когда диапазон обычных человеческих чувств беспредельно увеличивается, они вырастают до размеров природного явления и становятся самим Провидением. Если вы вспомните историю, то увидите, что людей, которым удалось этого достичь, можно пересчитать по пальцам.

Гитлер. Вы говорите об истории человечества?

Крупп. Да, поскольку об истории богов мне ничего не известно. Зато я разбираюсь в железе. И должен сказать вам, Адольф, что на моих заводах метаморфоза, о которой я говорю, свершается каждый день и каждую ночь. Пройдя сквозь огненную бурю в три тысячи градусов по Фаренгейту, железная руда превращается в чугуны. В нечто качественно новое.

Гитлер. Я подумаю над вашими словами, господин Крупп.

Они уходят со сцены. Некоторое время спустя с противоположной стороны быстро, словно убегая от кого-то, на сцену выходит Рем. Следом за ним появляется Штрассер.

Рем. Ну что вы ко мне прилипли?! По-моему, я ясно дал понять, что не желаю с вами разговаривать.

Штрассер. Это я понял. Да и не я один. Все знают, что мы друг с другом не разговариваем. Рем – правый, Штрассер – левый, они – кошка с собакой и все такое. Если Рем со Штрассером встречаются на людях, то воротят рожу друг от друга. Сторонятся один другого, будто заразы боятся... Все эти разговоры мне известны, так что можете не утруждаться. Но именно поэтому – да, именно поэтому – нам непременно нужно потолковать.

Рем. Вы опоздали на завтрак к рейхсканцлеру. Он уже удалился в рабочий кабинет. Неплохо бы извиниться, а?

Штрассер. Бросьте, Рем. Сейчас не до дворцовых реверансов.

Рем. Ну и черт с вами, поступайте как знаете.

Штрассер. Да, я буду поступать как знаю. (*Садится в кресло.*) Присядьте-ка.

Рем. Я тоже знаю, как мне поступить. *(Во время последующего диалога раздраженно прохаживается взад-вперед.)*

Штрассер *(смеется)*. Вы как дитя малое... Будет вам брюзжать. Ведь вы недовольны рейхсканцлером. Вам не нравится, как он ведет себя в последнее время.

Рем. Фу-ты ну-ты, все мои мысли и чувства видит как на ладони. Да мы с Адольфом старые товарищи! А вы, хоть и давно в партии, но его другом никогда не были.

Штрассер. Но сейчас вы в нем разочаровались. Что, не так?

Рем. Да с чего вы взяли?

Штрассер. А с того. И я в нем был разочарован. Он очень, очень мне не нравился. Гитлер-рейхсканцлер – Гитлер, ходящий на задних лапках перед дряхлыми драконами с облезшей чешуей, мне был просто противен... Но теперь я начинаю думать иначе. После моего вчерашнего с ним разговора моя позиция изменилась. Нет, я больше не возмущен Гитлером и не разочарован в нем. Гитлер – молодчина!

Рем *(с некоторым интересом)*. И поэтому вы не соизволили явиться на завтрак?

Штрассер. Нет, не пришел я по другой причине. Подумал: придешь – не дай бог, еще отравы подсыплет.

Рем. Что за шутки! *(Незаметно для себя втягивается в разговор.)* Значит, Гитлер – молодчина? Это что, чисто по-человечески или исходя из нынешней ситуации?

Штрассер. А по-всякому. Гитлер сейчас вступил в период, подобного которому не бывало прежде. Новый период нуждается в новой тактике. Требуем мы ее от Гитлера или не требуем – он все равно и сам вынужден к ней прибегать, и чем дальше, тем больше. Я не хочу сказать, что Гитлер действует безупречно, но, во всяком случае, он чувствует ситуацию лучше, чем кто бы то ни было. Вот почему он – молодчина.

Рем. Вы прямо соловьем заливаетесь про этот ваш «новый период». Такой великий революционер расхваливает эпоху всеобщей сумятицы и безверия.

Штрассер. Революция – все, кончилась.

Рем. Я-то это знаю, господин Штрассер. Именно поэтому мы хотим...

Штрассер. Знаю-знаю. Сегодня вы не призываете к новой революции. Ведь вы согласились на мирную передышку.

Рем. Откуда вы?!.

Штрассер. И так ясно. Не бойтесь, я вашу беседу под дверью не подслушивал. У такого опытного политического волка слух исключительно тонкий: я и издали все слышу... Все решается сейчас. Вы ведь согласны, что революция окончена?

Рем *(нехотя)*. Ну, окончена.

Штрассер. Итак, революции больше нет. Вы стали министром, Гитлер стал рейхсканцлером, а я – я удалился от дел. Каждый занял определенную позицию. Предпосылки такого расклада имелись и прежде... Просто поразительно – никто ни сном ни духом не ожидал, что революция вдруг возьмет и кончится. *(С балкона доносится воркование голубей.)* Голубки воркуют... Я проходил по коридору, смотрю – стол стоит, неубранный после завтрака. Дай-ка, думаю, захвачу один тост – пташек покормлю. Где он тут у меня? *(Шарит в кармане.)* Ах черт, раскрошился. *(Подходит к балконной двери и кормит голубей. Рем садится в кресло.)* Ишь, накинудись... Как сияет солнце! Разве во время революции бывает такое утро? Да, не думал я, что доживу до такого безмятежного, без всякого запаха крови, утра. *(Штрассер говорит, оперевшись спиной о балконную ограду. Время от времени подбрасывает голубям крошек.)* Этого не могло, не должно было произойти. Но в один прекрасный день началось – и все, пошло-поехало. Голуби революции летали под свист пуль, к их лапкам были прикручены листки с боевыми донесениями. Круглую белую грудку в любую минуту могла запачкать алая кровь. А что мы видим теперь? Голубки что-то такое брюзжат, ворчат и мирно поклевывают хлебные крошки... Даже дым из трубы паровоза, мчащегося по путепроводу, напоминает уже

не о пороховой гари, а о костерке на пикнике. А когда проходишь под окном, на подоконнике которого хозяйка выколачивает пестрый ковер, вниз сыпятся не засохшие комья крови, а только табачный пепел да грязь с подметок. Или, скажем, бьют часы. Раньше они отстукивали кому-то последний час жизни, а теперь лишь извещают о течении времени: и золотые часы, и даже мраморные, с башни, перестали быть твердыми, они разжижились. Было время, когда женщины носили в своих кошелках вино, чтобы поить раненых бойцов революции, и тогда оно искрилось почище любого рубина. Нынче же вино стало цвета кирпича. Изрытые осколками газоны расцветали роскошными синими цветами, но вот стальных удобрений больше нет, и распускаются сплошь одни паршивые анютины глазки. А песни? Где тот особый надрыв, делавший их похожими на крик отчаяния? Синее небо, отражаясь в широко раскрытых глазах убитых, предвещало новую жизнь, теперь оно похоже на подсиненную воду в корыте для стирки. И табак утратил сладковатый привкус неотвратимой разлуки... Природа, люди, вещи потеряли наполнявшую, питавшую их силу – она ускользает между пальцами. Как воздух, как вода. А сложное сплетение наших острых как бритва нервов как-то обвисло, поистрепалось... Зато в воздухе потянуло новыми ароматами. Знакомый по прошлым годам запах гниения, когда прогреет солнце и из-под опавшей листвы в лесу вдруг шибанет такой мерзкой тухлятиной. Это падаль, оставшаяся с прошлогодней охоты, – не отыскивали псы подстреленной добычи. Гнилостное зловоние распространилось повсюду, от него человеческие пальцы теряют чувствительность, словно их поразила проказа. А ведь было время, когда эти пальцы могли нащупать путь во тьме – без всяких дорожных указателей и фонарей. Что они могут сегодня – только ставить подпись на чеке да баб тискать. Деградация. Да, каждодневная, не видимая глазу деградация. Не сомневаюсь, Рем, что и вы очень хорошо ее ощущаете. Если настал день, когда скрипка перестает по-настоящему выдавать тремоло, когда знамя больше не изгибается на древке леопардом, когда кофе перестает закипать с той неповторимой, клокочущей яростью, когда бойница в крепостной стене становится не орудийным жерлом, а бельмом, когда не запачканная кровью листовка превращается в рекламный листок, когда сапоги уже не пахнут звериной сыростью, когда звезда утрачивает магнетизм, когда стихи перестают быть паролем... Если такой день настал, Рем, это значит, что революции конец.

Революция – время белоснежных клыков, свирепых и чистых. Ослепительно-белого оскала молодых ртов – и в гневе, и в улыбке. Эпоха сверкающей эмали... А потом наступает эпоха десен. Сначала они красные, но постепенно лиловеют, начинают гнить...

Рем. Ну хватит! А то у меня от ваших речей уши гниют. Да и сердце тоже. К чему вы меня, собственно, призываете? А, Штрассер?

Штрассер. Я знаю – вы хотите затеять новую революцию. И я бы не прочь. По-моему, у нас есть тема для разговора. Нет?

Рем. Методы у нас разные. И цели тоже.

Штрассер. Это как в зеркале: ваше правое – мое левое. И наоборот. Может, расколотить зеркало к чертовой матери? А вдруг мы в аккурат сойдемся?

Рем. Так вот о чем разговор... Занятно. Ну-ка, присядьте.

Штрассер. Спасибо. Наконец я привлек ваше драгоценное внимание. (*Садится в кресло напротив.*)

Рем. Только говорю сразу – для ясности. Я никогда – ни раньше, ни теперь, ни в будущем – ни за что на свете не клюну на ваши коммунистические штучки. Мутите воду в этих ваших профсоюзах, и уже не поймешь, кому они служат – Германии или Советам. Слышите? Чтобы без этого! Я готов выслушать любые ваши предложения, кроме этого.

Штрассер. Ну-ну, побольше гибкости, дорогой Рем. Вы ведь все-таки министр, а не мальчишка из гитлерюгенда. Вы сказали: «Кроме этого». Не кроме, а вместо этого. Другое измерение, чувствуете?

Рем. То есть?

Штрассер. Что вы думаете о старичке Круппе, этом Рейнеке-Лисе, торговце железом? Он за Гитлером просто тенью следует...

Рем. По правде говоря, терпеть не могу этого старикашку.

Штрассер. Я спрашиваю не о ваших чувствах к этому господину. Как вы думаете, доверяет он Гитлеру?

Рем. Кто его знает...

Штрассер. А я думаю, что вряд ли. Старик пожаловал из Эссена, чтобы предложить режиму Гитлера брачный союз с эссенскими промышленниками. А предварительно выяснить, годится ли новый жених в спутники жизни. Сдается мне, что окончательное решение пока не принято. Железная невеста из Эссена – дама, конечно, собою видная, но несколько потрепана после предыдущего замужества. Я имею в виду мировую войну. Поэтому естественно, что посредник и сват должен проявить максимум осмотрительности при выборе нового супруга.

Рем. Но Шахт сказал, что на первую же после прошлогодней победы предвыборную кампанию Крупп отвалил в партийную кассу три миллиона.

Штрассер. Это был лишь первый шаг. Смотрины все еще продолжают. Эссенские промышленники болезненно переживают нынешний политический кризис, они трубят тревогу. И куда повернет Крупп, еще не ясно. Все решат ближайшие два-три дня.

Рем. Два-три дня?

Штрассер. Да. Благодаря вам, милейший Рем, национал-социалистическая партия на грани раскола.

Рем. Ваши сведения устарели, Штрассер. Кризис позади. Погодите, вот станет Адольф рейхспрезидентом, и тогда солнце еще засияет по-новому.

Штрассер. Вы в самом деле так думаете?

Рем. Я верю в Адольфа. Когда он станет президентом, сбудутся все чаяния моих ребят из СА.

Штрассер. Нет, вы серьезно на это рассчитываете?

Рем (*с некоторым беспокойством*). Ну конечно.

Штрассер. И чем вы за это заплатили?

Рем. Уступкой. Компромиссом. Я согласился выполнить приказ Адольфа. Отряды СА получают отпуск до конца июля. Весь этот срок им запрещено носить форму, устраивать шествия и учения. А я объявляю себя больным, хоть здоровье у меня бычье. Вот и весь театр – меня устраивает.

Штрассер. И вы думаете, что этим дело обойдется?

Рем. Во всяком случае, выйдет лишний пар – на время. А там и Адольф сделается президентом.

Штрассер. И вы полагаете, что военные купятся на этот дешевый трюк? Если так думает Гитлер, то он просто идиот. А если так думаете вы, Рем, то вы самый настоящий сумасшедший.

Рем. Что-о?! А ну повтори!

Штрассер. Повторяю. Или Гитлер идиот, или вы сумасшедший, одно из двух. Мысли о том, что и вы псих, и он кретин, я не допускаю. Надеюсь, я выразился ясно?

Рем. А вы мерзавец. Хотите сравить меня с Адольфом.

Пауза.

Штрассер. Да хватит о Гитлере. Поговорим лучше о ваших штурмовиках. Ведь вы хотели бы, чтобы ваше любимое детище стало ядром рейхсвера, нет? Хотели бы?

Рем. Это что, допрос?

Штрассер. А что, если есть способ осуществить вашу мечту?

Рем (*невольно подавшись вперед*). Какой?.. Да чего там, вот станет Адольф президентом...

Штрассер. Пустые посулы.

Рем. Я не позволю вам клеветать на Адольфа!

Штрассер. Может ли Гитлер наверняка рассчитывать на пост президента, если сделает столь незначительную уступку военным?

Рем. Может.

Штрассер. Я сказал: «Наверняка».

Рем. Наверняка?

Штрассер. Да. Генералы шутить не станут. Гитлер не может стопроцентно обеспечить себе кресло рейхспрезидента до тех пор, пока окончательно не распустит отряды СА. Вот и получается, дорогой Рем, что на его пути стоите вы, и только вы. Не слишком ли по-детски вы поступаете, строя все свои планы на том, что Гитлер станет президентом?

Рем (*подавляя ярость*). Что это за способ, который вы упомянули?

Штрассер. Генерал фон Шлейхер.

Рем. Эта дряхлая развалина?

Штрассер. Единственный, кто может скрепить наш с вами союз. И единственный, кто способен воздействовать на фон Бломберга, уже предъявившего Гитлеру последний ультиматум.

Рем. То есть это в том смысле...

Штрассер. Да. Обойдемся без Гитлера. Не забывайте – ультиматум с угрозой ввести в стране военное положение генералитет предъявил Гитлеру. Не вам.

Рем. Без Гитлера? Ого! Теперь я наконец вас раскусил. Решили с генералами сговориться, да? Чтобы сначала отколоть меня от Гитлера, а потом армия разделяется с нами поодиночке. Ни черта у вас не выйдет! Мы с Адольфом – как одно целое.

Штрассер. Гитлер очень хорошо понимает, что, если это ваше «одно целое» не развалить, ничего у него не выйдет. Потому-то он уже поделил «целое» на две половинки, и весь июль половинки будут вздыхать друг по другу на расстоянии.

Рем. Я же уже сказал – это временный политический ход.

Штрассер. Ну ладно. Вижу, что убеждать вас бессмысленно. Человеку, взглянувшему на солнце, все вокруг кажется желтым, а вы загляделись на Гитлера, и весь мир вам видится в его сиянии... Ну что ж, пусть так. Но я все-таки должен кое-что вам сказать. А вы уж, сделайте милость, выслушайте меня хладнокровно. Можете не соглашаться, но, если хоть что-то из моих слов западет вам в душу, и на том ладно. Дело, в сущности, простое. Это план революции – нашей с вами революции. Мы заключаем союз – сегодня же – и, опираясь на отряды СА, добиваемся исключения Гитлера из партии. Вождем партии становитесь вы, Рем. Фон Шлейхер берет на себя Бломберга, и теперь, когда Гитлера уже нет, тот примиряется с вами. Ведь на самом деле пруссаки боятся вашего с Гитлером альянса. А я – я, имея в вашем лице мощную опору, начинаю проводить социалистические преобразования. Временным президентом делаем фон Папена, я – рейхсканцлер, вы – главнокомандующий. О финансовой стороне дела можно не беспокоиться. Если мы сейчас с вами договоримся, вопрос денег решится сам собой.

Рем. Это каким же образом?

Штрассер. Крупн немедленно переметнется на нашу сторону.

Пауза.

Рем... Понятно. Я вас понял. Думаю, и вы меня поняли. Меня ваш план не соблазняет – ничуть, потому что я Адольфа никогда не предаю.

Штрассер. Ну что ж, спасибо, хоть выслушали. Но разговор еще не закончен. Я и не рассчитывал, что вы так сразу кинетесь в мои объятия. Только ведь вот какая штука получается, дражайший Рем. Если мы с вами не споемся и не уберем Гитлера, если не устроим общими

усилиями стремительную, как разряд молнии, революцию... Если мы упустим этот шанс... Как по-вашему, к чему это приведет? Нет-нет, не отвечайте сразу, подумайте.

Рем. А ни к чему не приведет, дражайший Штрассер. Все останется как есть. Мы с Адольфом – верные товарищи, вы – коварный интриган, Крупп – торговец смертью. Каждый будет продолжать разыгрывать свою роль и жить-поживать, а шарик будет знать себе крутиться дальше.

Штрассер. Вы полагаете? Ну-ка, поразмыслите еще. Чем дело кончится?

Рем. Да ничем.

Штрассер. Уверены?

Рем. Уверен... Ну а по-вашему – чем?

Штрассер. Смертью.

Рем. Это чьей же?

Штрассер. Моей. И вашей.

Пауза.

Рем (*расхохотавшись*). Ну вы и фантазер. Смертью? Вашей и моей? Вы что, к астрологу ходили? Слушаю я вас, слушаю, и сдается мне, что жар у вас – вроде как бредите вы. А ваш революционный план слабоват. Вы говорите, что я недооцениваю генералов, а вы-то и подавно их дураками считаете.

Штрассер. Да, я знаю, что план слабый. Но в нашем положении лучше слабый план, чем вообще никакого плана. Я бегу из последних сил, ухожу от погони, пытаюсь вскочить на вашего бешено несущегося коня. Если вы его остановите, мы оба пропали. А вы – вы натягиваете поводья! Я не могу этого видеть! Я должен открыть вам, не подозревавшему о смертельной опасности, глаза – от этого зависит и моя жизнь. Забудем все распри, усядемся в одно седло, прищепим коня. У нас нет выбора. Сломая голову, вперед, по равнине, по горам, – там, за горизонтом, нас ждет заря революции... Поймите же наконец, Рем. Я ставлю сейчас все на вас и на три миллиона ваших штурмовиков, армию революции.

Рем. Ставите на нас, чтобы использовать нас для измены.

Штрассер. Да нет же, нет! Ваши революционные отряды – наше единственное спасение. А Гитлер-то уж точно на вас больше не ставит.

Рем (*с тревогой*). Ну, это...

Штрассер. Гитлер поставил на наших врагов. Неужели вы этого не видите, Рем?

Рем. А хоть бы и так. Неужели я стал бы подавать руку предателю?

Штрассер. Черт с вами, пусть я буду предатель. Время не терпит! Если мы немедленно не объединимся и не ударим по Гитлеру...

Рем. То что? Смерть?

Штрассер. Да... Смерть.

Рем заливисто хохочет. Штрассер молчит. Смех Рема обрывается.

Рем. И какой же смертью мы умрем? От удара молнии? Или из пучины морской вынырнет мировой змей Мидгарда, и мы расколотим ему башку молотком, но погибнем и сами, сраженные смертоносным ядом? А может быть, нас, как последнего из богов, мужественного Тора, укусит демонский пес Гарм?

Штрассер. Такая смерть еще куда ни шло. Только знаете, Рем, вы, может быть, и герой, но героической смерти я вам не обещаю.

Рем (*весело*). Что, от болезни загнусь?

Штрассер. Так вы ведь и так уже вроде как больны – сами сказали. Название вашей болезни – излишняя доверчивость.

Рем. Убьют? Казнят?

Штрассер. Скорее всего, то и другое. Вы уверены, что сможете вынести пытки?

Рем (*насмешливо*). Кто же это вас так запугал, господин трусишка? Скажите-ка. Бойтесь даже имя назвать? Такой страшный человек, да?

Штрассер. Адольф Гитлер.

Пауза.

Рем. Один вопрос, Штрассер. Ты намерен помешать Адольфу занять пост президента?

Штрассер. Постараюсь. Если у меня получится, Германия будет спасена. Вчера я заявил об этом Гитлеру без обиняков.

Рем. Вот, значит, как? Понятно. Если ты это серьезно, то учти – я обещал Адольфу тебя прикончить, и я свое обещание выполняю.

Штрассер. Это ради бога. Только для осуществления вашей угрозы, для убийства, необходимы как минимум два условия. Во-первых, чтобы было кого убивать. И во-вторых, чтобы было кому убивать.

Рем. Ты хочешь сказать, что Адольф разберется с тобой раньше?

Штрассер. Элементарная арифметика. Если мы с вами объединяемся, то спасем свои жизни, да еще и провернем революцию. Если нет – меня убьют. Чуть раньше, чуть позже, вы или Гитлер – это уже несущественно. Я бы предпочел принять смерть от вас. Знаете, вот беседуем мы с вами, и вы мне даже начинаете нравиться.

Рем. Ай-ай-ай, бедолага. Как ни крутись, как ни вертись, все одно ему крышка. Объясните мне только, а почему это Адольф не может прихлопнуть нас обоих, если мы объединимся? Ведь у него есть СС.

Штрассер. Если мы заключим союз, то отряды СА не будут разоружены. А против армии штурмовиков горстка эсэсовцев бессильна.

Рем. А генералы?

Штрассер. Генералы не станут марать руки политическим убийством. Они же так кичатся своими белыми перчатками... И есть еще одна, самая главная, причина, дорогой Рем, по которой Гитлер не сможет нас убить, если мы объединимся.

Рем. Какая?

Штрассер. Крупн. Он переметнется к нам. А Гитлер, даже получив такой щелчок, ни за что на свете не захочет настроить против себя эссенских промышленников.

Рем. Что ж, может, и так. Только мне-то ведь до этого дела нет.

Штрассер. Как – нет?

Рем. Меня-то Адольф убивать не станет.

Штрассер (*обреченно*). О господи, Рем...

Рем. Послушайте вы меня, слабонервный господин Штрассер. Все в вашей башке перемешалось, несете какую-то несуслазную чушь. Рехнулись от страха. Основания для страха у вас, конечно, кое-какие есть – спорить не стану. Может, даже и довольно серьезные. Ладно, вы больны чумой – но зачем меня-то заражать? Вас хотят убить – ну и черт с вами, я-то здесь при чем? Вы считаете, что вас прикончит Адольф. Весьма сочувствую вам, но мне его бояться нечего. Надеюсь, это вам ясно?

Штрассер. Почему вы так уверены?

Рем. Потому что он – мой друг.

Штрассер. Болван...

Рем. Может быть, вас и вправду убьют. Будете под ногами путаться, я это сделаю и сам, без Адольфа... Но нас обоих? Бред. Или просто запугивание. И вы хотите этими детскими угрозами испугать капитана Рема, человека, прошедшего огонь и воду?

Если же это бред, то я не удивляюсь – вы явно спятили. Еще расскажите мне, что Земля плоская, как лист бумаги, заявите в полицию, что вас убивают радиоволнами, или заорите, что на Луне живут люди. Может, вам в больницу лечь? Вы утратили способность трезво оценивать реальную жизнь, точнее говоря – понимать самые ее основы.

Штрассер. Это какие же?

Рем. Ну, скажем, веру в человека.

Штрассер. Что-что?!

Рем. Веру в человека. В дружбу, в боевое товарищество – в истонные и превосходные мужские качества. Без них жизнь просто распалась бы. И политика тоже. Мы с Адольфом связаны там – у самых корней жизни. Вашим извращенным мозгам это вряд ли дано понять.

Поверхность Земли, на которой мы живем, тверда. Леса, долины, скалы. Но если проникнуть под зеленую поросль, спуститься под земную кору – там горячо, там кипит расплавленная магма, сердце Земли. Именно магма – источник силы и духа, эта бесформенная, раскаленная материя и есть внутренний пламень, составляющий суть всякой формы. Белое как алебастр, прекрасное человеческое тело тоже содержит в себе этот пламень, оно оттого и прекрасно, что пламень просвечивает сквозь кожу! Знайте же, Штрассер, что эта магма движется миром, придает мужества бойцам, заставляет ставить на кон собственную жизнь, наполняет сердца юношей жаждой славы, вспенивает кровь всякого удалыца, идущего в сражение. Нас с Адольфом объединяет не что-то конкретное, земное. Человек, как физический объект, всегда сам по себе, люди могут сходитьсь и расходиться, могут предавать друг друга. Нас же сплавляет воедино бесформенная магма, кипящая глубоко под земной корой.

Вы знаете историю про крысенка Адорста?

Штрассер. Какой еще крысенок? Я пришел сюда не крыс обсуждать.

Рем. Не хотите – не надо. Но Адорст был одной крысой, не двумя.

Штрассер. Вы красиво говорите, Рем. Пусть я вам несимпатичен, но вы мне нравитесь все больше и больше. Однако рассуждаете вы как мальчишка. Мальчишка, играющий в войну, – знаете, бегают с приятелями по лесу, пересвистываются, понарошку попадают в плен, понарошку погибает. Но вы-то ведь занимаетесь политикой, хотите вы этого или нет, вам мальчишечьи игры не к лицу – пропадете.

Рем. Я не политик, я – солдат.

Штрассер. И вы намерены сохранять верность даже такому ненадежному союзнику, как Гитлер?

Рем. Почему он ненадежный? Человеку свойственно иногда колебаться, изменять свое мнение. Но Адольф мне друг, а вот насчет всяких прочих – не знаю.

Штрассер. Ладно, пусть он ваш друг. А вы – слепец.

Рем. Почему?

Штрассер. Как он вчера на вас смотрел – даже со стороны было видно, что это глаза убийцы.

Рем. Это оттого, что вы смотрите на мир через темные очки своих химер. Верно, вчера Адольф малость перегнул палку. Но зато мы вспоминали старые добрые времена. И сегодня тоже. Такого приятного завтрака, как нынче, у меня, по-моему, никогда не было. Настоящая товарищеская трапеза – простая, мужественная и очень германская... Глаза Адольфа вам не понравились? Да, пожалуй, они красноваты, но это от недосыпания, ведь у него столько дел.

Штрассер. Слепец... Я умею распознавать взгляд убийцы. Долгая жизнь в политике научила меня этому... Такого мрачного взгляда, как вчера, я у Гитлера никогда еще не видел. Неужели вы не заметили этого, Рем? Эти сине-черные глаза, цвета зимней балтийской волны.

Цвета, отвергающего все человеческие чувства. Вот такими глазами смотрят на того, кого решили убить... Я вовсе не считаю Гитлера каким-то исчадием ада. Его всего лишь затянули неумолимые шестерни необходимости. Ему – хочет он или не хочет – необходимо стать президентом. Машина пущена. Механизм завелся, генералы гонят Гитлера прямо в пасть этого агрегата. Шестерни набирают обороты, генералы давят все сильнее. Еще один толчок, и у него просто дыхание лопнет. Будь на месте Гитлера я – а я, как вам известно, и мухи не обижу, – я бы пришел к тому же выводу: Рема и Штрассера необходимо убрать.

Рем. Просто какой-то театр кошмара. Плод трусливого воображения... Давайте подведем итоги. Итак, вы утверждаете, что, если оставить все как есть, нас обоих убьют. А если мы заключим союз, устраним Гитлера и устроим революцию, то не только спасем свою жизнь, но и покорим весь мир. Так? Вот мой ответ. Даже под угрозой смерти я Гитлера не предаю. И на этом точка. По-моему, больше нам говорить не о чем.

Штрассер (*помолчав*). Что ж, Рем, я вас понял. И все-таки уделите мне еще немного времени. Я сделаю уступку. Мне это очень тяжело, но чтобы избежать худшего... Значит, так. Не будем устранять Гитлера. Задействуем и его.

Рем (*со смехом*). Как так? Кроважного убийцу, который жаждет вас растерзать? По-моему, ты, приятель, совсем рехнулся.

Штрассер. Погодите, дослушайте. Мы объединим усилия, поддержим Гитлера слева и справа. Я сам займусь военными и посею между ними раздор. Ваши штурмовики воспользуются этим и начнут революцию. Мы провозгласим Гитлера рейхспрезидентом. Но реальная власть должна принадлежать нам двоим, Гитлер же пусть станет наивысшим государственным символом.

Рем. Марионеткой.

Штрассер. Да. Если мы заключим союз, мы можем это сделать. Мне – политика, вам – армия, ему – почет. Вполне осуществимый вариант. Ваша верность и ваше товарищество станут украшением истории... Для этого нужно, чтобы вы, Рем, – в конечном итоге ради самого же Гитлера – не побоялись на время превратиться в мятежника. Необходимо сегодня же, сейчас же привести отряды СА в состояние боевой готовности. Ни в коем случае не допускать их разоружения!

Рем. Теперь вы предлагаете мне устроить мятеж. Ишь, сколько у нашего фокусника запасено разных кунштюков. (*Холодно.*) Для ясности. Я никогда не действовал вопреки приказам Адольфа. Не намерен делать этого и впредь. Знаете почему? Во-первых, я – солдат. А во-вторых, каждый из приказов Адольфа, прежде чем подписать, показывает мне. Это приказы друга. Не правда ли, красивые отношения? Не повиновение, а дружеское согласие – вот как это называется.

Штрассер (*с отчаянием*). Неужели мне до вас не достучаться?! Ведь вы погибнете!

Рем. Скажи, какая обо мне забота! Не желаю я подавать руки негодяю. И все тут.

Штрассер. Ни при каких обстоятельствах?

Рем. Ни при каких.

Пауза.

Штрассер. Понятно. Раз я негодяй, говорить нам действительно не о чем. Сейчас мы распрощаемся и погибнем оба. Это яснее ясного. Вас убьет ваш друг Гитлер. Очевидно, это более завидная доля, чем моя.

Рем. Вот кретин. Как может Адольф убить меня?

Штрассер (*в сторону*). Господи, какой дурак.

Рем. Конечно, история знает немало примеров того, как идеи, взращенные в большом мозгу, подрывали прекрасную мужскую дружбу. Но чтобы Гитлер убил Рема? Никогда. И ход

истории подтвердит мою правоту. Если, конечно, это будет история людей, а не... Штрассер, вы больны.

Штрассер. Как и вы, Рем.

Рем. Надо нам обоим за лето поднабраться сил.

Штрассер. Не будет у нас на это времени.

Рем. Учитесь у Гинденбурга. Одной ногой в могиле уже, а как за жизнь цепляется.

Штрассер (*обессиленно приподнимается с кресла, но вдруг порывисто наклоняется к Рему и хватается его за колено*). Рем, умоляю! Спасите меня. Только вы можете это сделать... Спасая меня, вы спасетесь и сами! Не упускайте этого шанса, второго уже не будет! Только вы, только вы в силах спасти нас обоих!

Рем (*холодно отстраняется*). Хочешь подохнуть – подыхай. Убьют тебя, говоришь? Ну и черт с тобой. А то ведь и я могу взять и вышибить из тебя душу, прямо сейчас.

Штрассер. Давай. Вышиби. Лучше уж мне умереть сейчас. Предпочитаю принять смерть от руки дурака, а не холодного, зловещего умника. А с тобой мы так и так вскоре встретимся. На том свете. Доставай свой пистолет, пали.

Рем. Я бы с удовольствием, да приказа пока не было.

Штрассер. Какого еще приказа?

Рем. Приказа Адольфа Гитлера.

Штрассер. Вот это будет картинка, когда ты получишь приказ прикончить самого себя.

Рем. Кретин!.. Дать тебе, что ли, в зубы, чтоб ты заткнулся?

Штрассер. Гитлер уберет тебя. Это так же несомненно, как то, что солнце восходит на востоке.

Рем. Ты опять за свое?

Штрассер. Нет, мне никогда не понять этой идиотской доверчивости!

Рем. Я ухожу. Нет у меня времени болтовню разводить с психами. Эх, лето на Висзее. Поселюсь на берегу, в отеле, и ни одного слюнявого интеллигентишки вроде тебя на пушечный выстрел к себе не подпущу. Только веселых сорвиголов, золотоволосых и голубоглазых, как боги. Впереди – отдых, привал мощных и прекрасных воинов, каждый из которых не уступит самому богу Бальдру. Приказ Адольфа будет исполнен. (*Идет прочь.*)

Штрассер. Постой. Хочу дать тебе один совет. Я действительно испытываю к тебе симпатию. Совет искренний – прислушайся. (*Рем, не оборачиваясь, идет со сцены.*) Рем! Если ты и в самом деле собрался на Висзее, отправь туда же хорошую охрану. В этом нет подвоха – я желаю тебе добра!

Рем (*оборачивается у самой кулисы и язвительно улыбается*). Персоналом СА команду я. И попрошу не указывать мне, кого и куда отправлять.

Рем надевает фуражку, щелкает каблуками, с преувеличенной торжественностью салютует и, развернувшись кругом, удаляется. Штрассер обессиленно падает в кресло. Потом резко вскакивает и бросается вслед за Ремом. Сцена некоторое время остается пустой. Слышно воркование голубей. С другого конца сцены входит Гитлер, в руке его – белые перчатки. Он раздраженно прохаживается взад-вперед, мучительно над чем-то размышляя. Подходит к балконной двери, стоит, погруженный в раздумья, словно никак не может принять решение. Наконец обеими руками резко захлопывает балконную дверь. Решение принято. Гитлер выходит на авансцену и подает в зрительный зал знак взмахом белых перчаток – влево и вправо.

Гитлер (*влево*). Геббельс... (*Вправо.*) Гиммлер... Я отправляюсь в путешествие. Мои указания по известному вам делу отправлю с дороги, с секретным курьером. Как только получите их, немедленно приступайте к исполнению – и чтобы строжайшая секретность! Операцию провести четко, без колебаний. И никакой пощады. Ну а теперь займитесь подготовкой. (*Кивает обоим, отпуская их. Затем выходит в центр сцены и стоит там один, повернувшись к зрителям спиной.*)

Занавес

Действие третье

30 июня 1934 года, полночь. Прошло несколько дней. Декорация та же. Ярко горит люстра. Появляется Крупп – как всегда, с тростью. Садится на стул, ждет. Некоторое время спустя с противоположной стороны выходит Гитлер, одетый в военный мундир. Он бледен, изможден, глаза запали.

Крупп. А-а, с возвращением. Я слышал, вы были в путешествии. Что означает сей срочный вызов?

Гитлер. Прошу извинить, что заставил ждать, господин Крупп. Прошу также извинить за этот вид. Чрезвычайное положение – с самого приезда все нет времени форму снять.

Крупп. Боже, какой цвет лица, Адольф. Вы, верно, не сомкнули глаз?

Гитлер. Надеюсь, вы не в обиде на меня за полуночный вызов – давайте считать, что мне невольно пришлось проводить бессонную ночь в одиночестве.

Крупп. Что ж, приятно, когда в тебе нуждаются... Из-за этой проклятой сырости так разнылось колено, что я и сам не прочь скоротать бессонную ночь за беседой.

Гитлер. Вот и отлично.

Пауза.

Крупп. Значит, дело все-таки сделано.

Гитлер. Да. Это была необходимая мера.

Крупп. Обоих?

Гитлер. Обоих.

Крупп. Расстреляна также вся верхушка СА, да? Я слышал, что обыватели, живущие поблизости от Рихтерфельтского военного училища, в ночь с субботы на воскресенье не могли уснуть от залпов, доносившихся с плаца. Неужто в самом деле расстреляны четыреста человек?

Гитлер (*подсчитывает в уме, сбивается, нервно загибает пальцы*). Да... Триста восемьдесят... Пока.

Крупп. Работа немалая. Генералы, я полагаю, будут довольны. Но как это воспримут так называемые народные массы? Не взорвутся ли улицы демонстрациями?

Гитлер. Я намерен произнести речь в рейхстаге. Официально будет названо число казненных... (*снова считает*) семьдесят... нет... восемьдесят человек.

Крупп. Я полагаю, в вашей речи будут приведены веские обоснования смертных приговоров, вынесенных Рему и Штрассеру?

Гитлер. Естественно. Начать с того, что Рем погряз в коррупции...

Крупп. Ну, не он один...

Гитлер. Во-вторых, жестокость в обращении с людьми...

Крупп. Каковая свойственна всей национал-социалистической партии.

Гитлер. В-третьих, распутство, причем самого отвратительного, извращенного свойства.

Крупп. А это, если воспользоваться собственными словами покойного, сладкий сок, которым питается жук-носорог.

Гитлер. Главное же то, чего простить нельзя, – Рем готовил мятеж. Когда я раскрою этот чудовищный замысел, весь народ одобрит принятые мною меры.

Крупп. Удивляет то, что заговор раскрылся, когда многие его участники уже успели отправиться на тот свет. Если заговор был столь уж чудовищен, он бы обнаружился на более ранней стадии, не так?

Гитлер (*срывается на крик*). Чего вы, собственно, добиваетесь?!

Крупп. Адольф, вы раздражены. Кричать на старика, уж во всяком случае, не следует.

Гитлер. Хорошо, я буду спокоен. Говорите все, что хотите, только не оставляйте меня.

Крупп. Пролилась кровь. В такую ночь, как сегодня, нельзя искать забвения в вине или, скажем, женщинах – нужно с головой окунуться в мысли об этой крови. Вот скорейший путь к выздоровлению, уж поверьте человеку, прожившему долгую жизнь. Адольф, вы очень устали. Вам в уши влилось столько крови – ее надо откачать, иначе она хлынет на пол, впитается в паркет... К счастью, я располагаю куда более полной информацией, чем вы, и могу вам кое-что рассказать. Чем выше поднимается человек по ступенькам власти, тем больше отдаляется он от источников точной информации.

Гитлер. Я вижу, вы решили воспользоваться моим позволением говорить все, что хотите.

Крупп. О Штрассере. Его арестовали здесь, в Берлине, в субботу, в полдень. Очень быстро – он и пообедать не успел. Отвезли в тюрьму на Принц-Альбрехт-штрассе и прикончили. Никакого суда, разумеется, не было, но вот не знаю – покормили его все-таки в тюрьме обедом или нет. Этот вопрос меня волнует – неужели беднягу прихлопнули на пустой желудок?.. В то же самое время в дверь особняка, где живет генерал фон Шлейхер, позвонили. Генерал открыл и был прямо в приемной изрешечен пулями. Пристрелили и супругу генерала. О, у ваших эсэсовцев было очень много работы! Подобных, весьма своеобразных визитов вежливости им пришлось нанести немало. Летучих отрядов смерти было много – как и клиентов.

Гитлер. А как встретил смерть Штрассер? Может быть, вам известны и такие, совсем уж пикантные подробности?

Крупп. Увы. Впрочем, я предполагаю, что, против ожиданий, Штрассер встретил смерть спокойно и без особой суетливости. Мужчина он был хилый, да еще без обеда остался – вероятно, умер тихо, как растение. Очень был умный человек. Вам бы следовало предложить ему чашу с ядом, как Сократу.

Гитлер (*с яростью*). Уж этого-то мерзавца надо было просто на куски разорвать. (*Встает и продолжает по-ораторски.*) Этот подлый интриган, прикидывавшийся другом рабочего класса, вступил в сговор со старыми лисицами из рейхсвера. Он замыслил свергнуть нашу власть, жидовствующий интернационалист, вошь на теле новой Германии, гнусный заговорщик, дерьмо! Гнилой интеллигентишка, все пытавшийся протащить в жизнь идеи из студенческих газетенок! Расследование будет продолжено. Как знать, не обнаружатся ли ниточки, тянущиеся в Москву?!

Крупп. Да-а, просто исчадие ада. Этот человек умер из-за того, что никак не мог примириться с реальностью и понять – время революций кончилось. А что касается Рема...

Гитлер. Мне сказали, что Рем перед казнью кричал и бился. Но – ни единого упрека в мой адрес. Все вопил: «Это козни Геринга!»

Крупп. Исключительного здоровья был мужчина. Его выволокли из мягкой постели в отеле и вместе со всеми его адъютантами переправили в Мюнхен. Беднягу расстреляли в той самой тюрьме Штадтерхайм, где он сидел десять лет назад, после Мюнхенского путча. Что ж, расстрел был подходящей для него смертью... Бился и кричал, говорите?

Гитлер. Так мне доложили. Неприятно.

Крупп. Что ж удивляться – произошло нечто, с его точки зрения, абсолютно невероятное.

Гитлер. Вы говорите таким тоном, словно Рем – невинная жертва. (*Гневно.*) Нет, Рем виновен. Виновен! У меня есть все доказательства его измены. О, он был виновен очень во многом, господин Крупп. Я не мог более закрывать глаза на его преступления. Рем и в самом деле считал себя моим другом, не понимая, что одно это уже преступно. И хотел, чтобы я тоже

был ему другом, – а это преступно вдвойне. Ему все грезились минувшие дни. Он воображал себя чуть ли не легендарным героем! Игра в солдатики для него была важнее всего на свете. Ах, как он обожал спать «под звездным небом», закутавшись в драное солдатское одеяло. Человек был членом кабинета министров, а все дурил мне голову своими мечтами. Разве это не преступление?.. Рем был убежден, что он – самый мужественный, самый доблестный, самый сильный. И это тоже преступление... Он умел только одно – отдавать приказы. Даже эта его так называемая преданность очень смахивала на отдавание мне приказов. Тоже преступление!

Крупп. Ночь, сырое берлинское небо и перечень злодеяний усопшего? Ничего не скажешь, траурный митинг удался на славу.

Гитлер. И все же в одном Рем был прав, попал в самую точку. Он любил повторять: «Эрнст – солдат, а Адольф – художник». Меня это очень бесило. А теперь я думаю, что слово «художник», которое он произносил снисходительно, приобретает новый масштаб, и не снисходящийся тупоумному Рему. Он-то умел только фантазировать, настоящего же воображения был начисто лишен. Потому-то и не понял, что обречен, потому-то и не достиг уровня подлинной безжалостности. Его уши воспринимали только громохание военного оркестра, а ему следовало бы, как это делаю я, побольше слушать Вагнера. Не дорос он до понимания того, что такое красота. Для того чтобы сотворить на земле красоту, необходимо во что бы то ни стало ухватить самую суть ее, корень красоты, – как ты ее представляешь себе сам. Помнится, вы как-то спросили, способен ли я ощутить себя бурей. Это все равно что понять: почему я – буря. Понять, отчего я рокочу громовыми раскатами, отчего темнею, отчего безумствую во мне ветер и дождь. Понять – почему я велик. И этого мало. Нужно понять, почему своим уделом я избрал разрушение. Почему я валю наземь огромные засохшие деревья, а нивы питаю живительной влагой. Лица немецких юношей казались изможденными в свете витрин еврейских магазинов, я же, подобно богу-громовержцу, озарил эти лица вспышками молний и воспламенил их новой жизнью! Почему так необходимо мне, чтобы каждый немец обрел вкус к высокой трагедии?.. Это моя судьба.

Крупп. Значит, будет буря? Смотрите (*выходит на балкон*) – небо черным-черно, ни единой звездочки, лишь мрачные тучи, похожие на груды трупов... Ночной воздух просто гибель для моего колена, но в комнате нечем дышать, отовсюду несет кровью... Адольф, расстрелы еще продолжают?

Гитлер. Должны.

Крупп. А отсюда выстрелов не слышно. В какой стороне Рихтерфельд?

Гитлер (*подходит к балкону и показывает влево*). Вон там. (*Тут же возвращается обратно*.) Сейчас уже убирают всякую мелкую сошку.

Крупп. И все – моими винтовками. Из лучшей в мире крупповской винтовки и пулю получить – одно удовольствие. Иногда я представляю себя винтовкой: вот наконец насытила она свой голод, настрелялась по человеческим телам; ее хозяин, солдат, получил увольнительную и ушел в бордель, а она сладко спит на своей дубовой подушке в ружейном шкафу... Как я завидую тем, кто может спать.

Гитлер (*сам с собой*). Эрнст – солдат, Адольф – художник... Нет, надо так: «Эрнст был солдатом. А Адольф отныне станет художником».

Крупп (*с балкона*). Вы что-то сказали, Адольф?

Гитлер. Нет, ничего.

Крупп. Пойдите-ка сюда.

Гитлер. Нет Рема, так теперь вы мне будете приказывать?

Крупп (*эти слова производят на него такое действие, что он роняет на пол свою трость*). А, проклятье!

Гитлер (*не поднимаясь из кресла*). Что такое?

Крупп. Вы видите. Я уронил свою трость!

Гитлер. И хотите, чтоб я вам ее поднял?

Крупп. Да нет. Я не... (*несвойственным ему просительным тоном*). Я бы поднял сам, но колено... Не могу согнуть, очень болит.

Гитлер (*не поднимаясь*). Сейчас иду.

Крупп стоит, опершись рукой о балконную дверь, и ждет.

Гитлер (*откинувшись в кресле, угрюмо напевает*).

Вместе погибнуть, вместе сражаться
Взявшим винтовки на этом пути.
В битве кровавой пусть загорятся
Алые маки на нашей груди.

(*Тихо смеется – горько и безжалостно.*)

Крупп (*жалобно*). Адольф!

Гитлер (*словно очнувшись, легко поднимается с кресла*). Да-да, прошу прощения. (*Подбирает с пола трость и с преувеличенной почтительностью подает ее Круппу.*) Очень болит, да?

Крупп. Ох, спасибо. Благодарю. Все в порядке.

Гитлер (*ласково берет его под локоть*). Как же вы так, нужно осторожнее... Вы просили меня подойти? Простите, я немного задумался. Так что такое?

Крупп. Мм... Собственно... Забыл, что хотел сказать.

Гитлер. Ну ничего, потом вспомните. Пойдемте-ка в комнату, тут вам стоять вредно.

Крупп (*делая шаг*). Ах да, вспомнил. Адольф, выйдем-ка на балкон... Прислушайтесь. Слышите?

Гитлер. Что слышу?

Крупп. Залпы.

Гитлер. Отсюда? Не может быть...

Крупп (*страстно*). Ах, не может? Вы так считаете? А ведь там выполняют ваш приказ. Вы должны это слышать. Я хочу, чтобы вы напрягли свой слух и все-таки услышали эхо выстрелов – оттуда, из-за высокой, глухой стены училища.

Гитлер. Ерунда какая-то. Да и небезопасно мне такой темной ночью выходить на балкон – а вдруг покушение... (*Неохотно выходит на балкон.*) Я слышу только лязг вагонных колес, доносящийся с вокзала... Гудки автомобилей... Вся Унтер-ден-Линден утонула в густой тени деревьев – темно, звезд не видно.

Крупп. Неужто не слышите? Ведь это ваши залпы!

Гитлер. Я понимаю, что вы хотите сказать. Моторист не может не слышать шум работы мотора, которым привел в движение эту кровавую ночь.

Крупп. Именно так, Адольф. Слушайте этот гром, впитывайте его, пусть ваше воображение рисует самые кровавые картины – вот путь к возрождению и исцелению. Иначе вам себя не обрести. Только этим лекарством можно вылечить бессонницу.

Гитлер (*оживившись*). Вы правы, господин Крупп. Кажется, я и в самом деле слышу... Вот залп... Запоздавший выстрел... Еще один... Что поделаешь – сноровки пока маловато.

Крупп. Слышите? Гром выстрелов, дырявящих мундиры офицеров СА.

Гитлер. Да, слышу. Нерационально. Расстреливать надо не поодиночке, а выстроив в ряд. Слышу... Залп... Целься! Пли!.. Пли!.. Пли!

Я все вижу... Завязанное платком лицо дергается. Тело изгибается, как древко лука. Подбородок красен от хлынувшей изо рта крови. Голова падает на грудь, и человек рухнул, как

подстреленная птица. Мертв... Смотрите – все они в форме СА. Уже одно это свидетельствует об измене, ведь я отдал приказ, запретивший им носить форму... Четыреста мундиров, так любовно придуманных самим Ремом, пробиты пулями и пропитаны кровью. А их владельцы, словно манекены в тире, падают, подстреленные, в вырытые рвы... Пли!.. Огонь!.. Пли!.. Те самые бесшабашные здоровяки, маршировавшие за Ремом, рассекая грудью встречный ветер. Их молодым жизням, их вере в силу одних только бицепсов – конец... Все кончено: игра в солдатики, болтовня о братстве, дурацкие парады на рассвете, пение в пивных, потуги на рыцарство... Ностальгия... Сантименты о фронтовом товариществе... Кончено. И конец революции, о которой они так мечтали... Пули моих эсэсовцев изрешетили эту инфантильную мечту, изрешетили вместе с разукрашенными золотом мундирами... Всякой игре в революцию – конец.

Крупп. Всякой? Да, вряд ли еще кто-нибудь захочет революции. Ей нанесен смертельный удар. Теперь поддержка генералов вам обеспечена. Вы стали полноправным и законным претендентом на пост рейхспрезидента. Иного пути не было.

Гитлер (*ведет Круппа с балкона в комнату, придвигает ему кресло*). Господин Крупп, это последние выстрелы, когда немцы стреляют в немцев... Все проблемы разрешены.

Крупп (*непринужденно откинувшись в кресле*). Пожалуй. Теперь мы со спокойным сердцем можем вам доверять. Во всем. Хорошо сработано, Адольф. Удар мечом влево, и тут же – удар вправо.

Гитлер (*выйдя на середину сцены*). Именно так. Политик должен держаться середины.

Занавес

Патриотизм Новелла

1

28 февраля 1936 года, на третий день известных событий, поручик гвардейского транспортного батальона Синдзи Такэяма, потрясенный известием о том, что его ближайшие друзья оказались в числе заговорщиков, не в силах смириться с приказом о подавлении мятежа, в одной из комнат своего особняка (дом шесть на улице Аоба, район Ёцуя) сделал харакири собственной саблей; его супруга Рэйко последовала примеру любимого мужа и тоже лишила себя жизни. В прощальной записке поручика была всего одна фраза: «Да здравствует императорская армия!» Жена тоже оставила письмо, в котором приносила извинения родителям за то, что уходит из жизни раньше их, и заканчивала словами: «Настал день, к которому должна быть готова жена офицера». Последние минуты жизни мужественной пары были таковы, что дрогнуло бы даже самое каменное сердце. Поручику исполнился тридцать один год, Рэйко – двадцать три. Со дня их свадьбы не прошло и полугода.

2

Те, кто присутствовал на бракосочетании или хотя бы видел свадебную фотографию, в один голос восхищались красотой молодой пары. Поручик, затянутый в парадный мундир, стоял подле невесты, горделиво расправив плечи, правая рука на эфесе сабли, в левой – фуражка. Лицо сурово, широко раскрытые глаза горят молодой отвагой и прямоотой. А очарование невесты, одетой в белоснежное свадебное кимоно, просто не поддавалось описанию. Плавный изгиб бровей, большие глаза, тонкий нос, полные губы – во всех этих чертах неповторимо сочетались чувственность и благородство. Из рукава кимоно целомудренно выглядывала кисть руки, державшей веер; изящно расставленные пальцы напоминали нежные лепестки луноцвета.

После того как супруги покончили с собой, люди, глядя на памятную фотографию, вздыхали и говорили, что такие идеальные на первый взгляд союзы всегда приносят несчастье. Казалось, что молодые, застывшие у золотой лаковой ширмы, видят своими ясными глазами лик скорой смерти.

Новобрачные поселились в особняке на улице Аоба, который подыскал для них один из сватов, генерал-лейтенант Одзэки. Впрочем, «особняк» – сказано слишком громко: это был небольшой домик с маленьким садом. В две комнатки первого этажа почти не заглядывало солнце, поэтому спальню (она же гостиная) супруги решили устроить наверху. Прислуги у них не было, Рэйко управлялась по хозяйству сама.

От свадебного путешествия в связи с трудными для отечества временами решено было отказаться. Первую ночь молодые провели под крышей своего нового дома. Прежде чем лечь в постель, поручик положил себе на колени обнаженную саблю и произнес перед Рэйко небольшую речь. Жена офицера, сказал он, должна всегда быть готова к тому, что ее муж погибнет. Может быть, это произойдет послезавтра. Не дрогнешь ли ты, когда наступит роковой день? – спросил он. Рэйко поднялась, выдвинула ящик шкафа и достала самое драгоценное из своего приданого – кинжал, врученный ей матерью. Как и муж, она молча положила обнаженный клинок себе на колени. Между супругами был заключен безмолвный договор, и поручик никогда больше не подвергал испытанию свою молодую жену.

За несколько месяцев, прошедших после свадьбы, красота Рэйко расцвела и засияла, словно луна на прояснившемся после дождя небосклоне.

Оба были молоды, полны сил, и страсть их не утихала. Они предавались любви не только по ночам – часто, вернувшись со службы, поручик не успевал даже скинуть пропыленный мундир, так не терпелось ему заключить в объятия молодую жену. Рэйко отвечала ему неменьшей страстностью. В первый же месяц замужества она вкусила неизъяснимое блаженство, и, зная это, поручик был счастлив.

Белое, прекрасное тело Рэйко, ее упругие груди, целомудренные и неприступные, раз доверившись любви, зажглись чувственным огнем. Молодые отдавались ласкам с пугающей серьезностью, которая не оставляла их даже в высший миг наслаждения.

На учениях в краткие минуты отдыха поручик думал о жене; Рэйко, оставаясь дома одна, постоянно видела перед собой образ любимого. Достаточно ей было взглянуть на свадебную фотографию, и она убеждалась, что ее счастье не сон. Рэйко вовсе не казалось странным, что мужчина, всего несколько месяцев назад бывший совершенно чужим, стал солнцем, которое освещало всю ее вселенную.

Отношения супругов зиждились на глубокой нравственной основе – ведь закон, установленный императором, гласил: «Муж и жена должны жить в полной гармонии». Рэйко никогда и ни в чем не перечила мужу, ни разу не возникло у поручика повода быть ею недовольным. В гостиной первого этажа, на алтаре, стояла фотография императорской фамилии, и каждое утро, перед тем как поручик отправлялся на службу, молодые низко кланялись портрету. Рэйко ежедневно поливала священное деревце сакаки, росшее в кадке перед алтарем, и его зелень всегда была свежей и пышной.

3

Дом поручика находился неподалеку от особняка министра-хранителя печати Сайто¹, но выстрелов, раздавшихся на рассвете 26 февраля, супруги не слышали. Трагический эпизод длился не более десяти минут, и поручика разбудила не стрельба, а звук трубы, разорвавший заснеженные предутренние сумерки, объявляя тревогу. Офицер рывком поднялся с постели, молча натянул форму, схватил саблю, которую подала ему жена, и выбежал на покрытую снегом темную улицу. До вечера двадцать восьмого Рэйко его больше не видела.

Из сообщений по радио она узнала, что произошло. Эти два дня она провела тихо, в полном одиночестве, за плотно закрытыми дверьми.

В лице мужа, спешившего уйти в снег и темноту, Рэйко прочла решимость принять смерть. Если он не вернется живым, она была готова последовать за ним. Не спеша Рэйко стала приводить в порядок свои вещи. Выходные кимоно она решила оставить на память своим бывшим школьным подругам и, завернув наряды в бумагу, написала сверху имена и адреса. Муж учил ее никогда не думать о завтрашнем дне и жить днем сегодняшним, поэтому дневника Рэйко не вела и была лишена наслаждения медленно перечитывать странички счастливых воспоминаний последних месяцев, сжигая листок за листком. Возле радиоприемника стояла маленькая коллекция Рэйко: фарфоровые собака, заяц, крот, медведь, лиса и еще ваза и кувшинчик. Молодая женщина подумала, что эти вещи вряд ли подойдут для памятных сувениров. Неудобно будет и попросить, чтобы их положили с ней в гроб. Рэйко показалось, что мордочки фарфоровых зверьков жалобно и неприкаянно кривятся.

Она взяла крота в руку, но мысленно была уже далеко от своего детского увлечения; ее глаза видели ослепительное сияние Великого Смысла, олицетворением которого являлся муж. Она рада понестись на солнечной колеснице навстречу смерти, но еще есть в запасе

¹ *Макото Сайто* (1858–1936) – бывший премьер-министр (1932–1934), был убит заговорщиками в первый день мятежа.

несколько часов, чтобы заняться милыми пустяками. Собственно говоря, милы эти безделушки ей были когда-то давно; сегодня она любила лишь воспоминание о той невинной привязанности. Сердце наполняла куда более жгучая страсть, нестерпимое ощущение счастья... Ибо Рэйко никогда не думала о радостях, дарованных ей плотью, как об обычном удовольствии. Холод февральского дня, прикосновение фарфора леденили ее тонкие пальцы, но стоило Рэйко вспомнить сильные руки мужа, сжимающие ее в объятиях, и сразу откуда-то снизу, из-под безупречных складок узорчатого кимоно, подступала горячая влажная истома, способная растопить любые снега.

Смерть, витавшая где-то рядом, не страшила Рэйко; дожидаясь любимого, она твердо верила: все, что он сейчас чувствует и думает – его страдания, его мука, так же как тело мужа, дававшее ей счастье, – влечет ее за собой к наслаждению, имя которому Смерть. В этой мысли, чувствовала Рэйко, даже в малой части этой мысли, легко может раствориться все ее существо.

Из сводок новостей Рэйко узнала, что в рядах заговорщиков оказались лучшие друзья ее мужа. Это известие уничтожило последние сомнения. Рэйко все с большим нетерпением ожидала императорского рескрипта, видя, как к восстанию, которое вначале именовали «движением за национальное возрождение», постепенно пристаёт позорное клеймо «мятежа». Из части, в которой служил поручик, не поступало никаких вестей. Занесенный снегом город с минуты на минуту ждал начала боевых действий.

Двадцать восьмого февраля, на закате, Рэйко со страхом услышала громкий стук в дверь. Она бросилась в прихожую и дрожащими руками отперла замок. Человек, чей неподвижный силуэт расплывчато темнел за матовым стеклом, молчал, но Рэйко сразу узнала мужа. Никогда еще засов не казался ей таким тугим. Он никак не желал открываться.

Дверь не успела еще полностью распахнуться, а поручик, в защитного цвета шинели и заляпанных снегом сапогах, уже шагнул в прихожую. Он задвинул засов и повернул в замке ключ. Рэйко не сразу поняла значение этого жеста.

– Добрый вечер, – поклонилась она, но поручик на приветствие не ответил. Он отстегнул саблю и стал раздеваться. Рэйко помогла ему. Шинель была сырой и холодной; от нее не пахло конюшней, как в сухие, солнечные дни; сегодня она показалась Рэйко необычайно тяжелой. Жена повесила шинель на вешалку и, зажав саблю и портупею под мышкой, последовала за мужем в крошечную гостиную нижнего этажа.

В ярком свете лампы заросшее щетиной лицо поручика показалось Рэйко чужим. Щеки ввалились и потемнели. Обычно, возвращаясь со службы в хорошем настроении, он первым делом переодевался в домашнее и требовал немедленно подавать ужин. Сегодня поручик сел за стол прямо в форме и понуро опустил голову. Рэйко не стала спрашивать, пора ли накрывать на стол.

Помолчав немного, муж произнес:

– Я ни о чем не знал. Они не позвали меня с собой. Наверное, из-за того, что я недавно женился... Там Кано, и Хомма, и Ямагути...

Рэйко как наяву увидела перед собой румяные лица молодых офицеров, друзей ее мужа, так часто бывавших у них в доме.

– Завтра должны огласить высочайший рескрипт. Их объявят мятежниками. Я буду обязан повести на них своих солдат... Я не могу этого сделать. Не могу.

– Меня сменили из охранения, – продолжал он после паузы, – и разрешили провести сегодняшнюю ночь дома. Завтра утром, верно, придется атаковать. Рэйко, это выше моих сил.

Рэйко сидела напротив, не поднимая глаз. Она прекрасно понимала, что муж сообщает ей о своем решении умереть. Решение уже принято. Голос его звучал с особой неколебимой силой, потому что за каждым словом стояла смерть, этот мрачный и недвижный фон. Поручик говорил о своих душевных муках, но сердце его не ведало колебаний.

Молчание, воцарившееся затем в гостиной, было чистым и прозрачным, как ручей талой воды с гор. Впервые за два дня непрерывной пытки, сидя у себя дома лицом к лицу с молодой, прелестной женой, поручик почувствовал, как на его душу нисходит покой. Он знал, что можно ничего больше не объяснять, – она и так все понимает.

– Ну вот, – поручик поднял глаза. Несмотря на бессонные ночи, их взгляд был острым и незамутненным. Теперь они смотрели прямо в лицо Рэйко. – Сегодня ночью я сделаю хакакири.

Рэйко не дрогнула. В ее огромных глазах было такое напряжение, что казалось, этот взгляд вот-вот зазвенит пронзительным колокольчиком.

– Я готова, – не сразу ответила она. – Позволь мне последовать за тобой.

Поручик почувствовал, что сила этого взгляда почти подавляет его. Слова сорвались с губ сами собой, словно в бреду:

– Ладно. Стало быть, вместе. Но я хочу, чтобы ты видела, как я умру. Согласна?

Ему самому было непонятно, как он мог так легко, почти небрежно, дать ей разрешение на этот страшный шаг. Но, когда слова прозвучали, сердца обоих захлестнула жаркая волна счастья. Рэйко была растрогана безоговорочным доверием мужа. Она знала, как важно для поручика, чтобы ритуал его смерти прошел безупречно. У хакакири непременно должен быть свидетель, и то, что на эту роль он выбрал ее, говорило о высочайшей степени уважения. И еще больший знак доверия то, что поручик не заставлял ее умирать первой, а значит, лишал себя возможности проверить, выполнит ли жена свое обещание. Будь он обыкновенным подзрительным мужем, Рэйко погибла бы раньше его – так обычно и происходит при двойных самоубийствах.

Поручик считал, что решение Рэйко, подтвердившее клятву, которую она дала в первую брачную ночь, было плодом его воспитания и его наставлений. Эта мысль внушала ему гордость. Лишенному самовлюбленности поручику и в голову не пришло, что жена могла решиться на смерть из одной только любви к нему.

Радость, охватившая души обоих, была столь велика и неподдельна, что лица супругов осветились улыбкой. У Рэйко возникло такое ощущение, словно им предстоит еще одна первая брачная ночь. Не было впереди ни боли, ни смерти – лишь вольный и бескрайний простор.

– У меня готова ванна. Примешь?

– Да.

– А ужинать будешь?

Слова эти были произнесены так обыденно, что поручику на миг показалось, будто все предшествующее – плод его воображения.

– Есть, наверное, не стоит. Вот sake бы выпить неплохо.

– Хорошо.

Рэйко встала, чтобы достать из шкафа халат мужа, и попросила его заглянуть внутрь. Поручик подошел и молча прочитал адреса подруг Рэйко, написанные на свертках с нарядами. Увидев новое доказательство обдуманности ее решения, он не испытал ни малейшей грусти, лишь сердце наполнилось еще большей нежностью. Рэйко была сейчас так похожа на юную жену, горделиво показывающую мужу свои милые, бестолковые покупки, что, не в силах сдерживать любви, поручик обнял ее сзади и поцеловал.

Небритая щетина кольнула ей шею, и Рэйко, для которой в этом прикосновении заключалось все ощущение жизни, поцелуй показался необычайно свежим – ведь скоро всему наступит конец. Мгновения наливались силой, просыпалась каждая клеточка тела. Рэйко приподнялась на цыпочки, подставляя шею губам мужа.

– Сначала ванну, потом sake, а потом... Постели наверху, – прошептал ей на ухо поручик. Рэйко кивнула.

Он рывком скинул мундир и вошел в ванную. Прислушиваясь к плеску воды, Рэйко разожгла в гостиной жаровню и стала подогревать саке.

Затем она отнесла в ванную халат, пояс и белье и спросила мужа, хорошо ли нагрелась вода. Поручик сидел в клубах пара и брился, мускулы на его могучей спине ходили под кожей вслед за движением рук.

Все было как в самый обыкновенный день. Рэйко быстро приготовила закуску из того, что нашлось в доме. Руки не дрожали, работа шла споро, даже лучше, чем обычно. И все же время от времени где-то глубоко в груди возникал странный трепет. Он вспыхивал на миг, подобно разряду дальней молнии, и тут же исчезал. А в остальном все шло как всегда.

Поручик, бреясь в ванной, чувствовал, как из разогревшегося тела уходит усталость, вызванная сомнениями и душевными муками. Несмотря на ожидающую его смерть, все существо офицера было исполнено радостного ожидания. Из комнаты доносились шаги хлопотавшей жены, и в нем проснулось здоровое физическое желание, о котором за последние два дня он забыл и думать.

Поручик не сомневался в том, что радость, с которой они приняли решение умереть, была неподдельной. В тот миг, хотя они об этом и не думали, оба почувствовали, что их сокровище от всех счастье находится под надежной защитой Высшей Справедливости, Божественной Воли и несокрушимой Нравственности. Прочтя в глазах друг друга готовность принять достойную смерть, поручик и его жена вновь осознали, какая мощная стальная стена, какая прочная броня Истины и Красоты оберегает их. Поэтому поручик был уверен, что никакого противоречия между зовом плоти и патриотическим чувством нет, наоборот, две эти страсти естественным образом сливались для него воедино.

Внимательно глядя в затуманенное от пара зеркало, темное и потрескавшееся, поручик водил бритвой очень осторожно: скоро на этом лице застынет маска смерти, поэтому нежелательно, чтобы ее уродовали порезы. Свежевыбритое лицо помолодело и стало словно излучать сияние, – казалось, даже старое зеркало посветлело. В союзе этой лучезарной молодости со смертью было что-то невыразительно элегантное.

Неужели на эти черты скоро ляжет тень смерти! Уже и сейчас лицо наполовину как бы перестало принадлежать поручику и походило скорее на каменный лик памятника погибшему воину. Офицер на миг закрыл глаза. Мир скрылся во тьме, видеть может только живой.

Когда поручик вышел из ванной, его гладко выбритые щеки отливали глянцевой голубизной; он сел возле жаровни, на которой нагревалось саке. Рэйко все приготовила и даже успела наскоро привести себя в порядок. Щеки ее покрывал нежный румянец, губы влажно блестели – поручик не увидел в лице жены ни малейшего признака печали. Довольный выдержкой Рэйко, он вновь подумал, что не ошибся в своем выборе.

Осушив чарку, поручик наполнил ее вновь и протянул жене. Рэйко никогда еще не пробовала вина, она послушно поднесла саке к губам и с опаской отпила.

– Иди ко мне, – позвал поручик.

Рэйко приблизилась к мужу, наклонилась, и он крепко ее обнял. Грудь ее затрепетала, радость и грусть смешались и забурлили, подогретые крепким саке. Поручик сверху заглянул жене в глаза. Последнее женское лицо, последнее человеческое лицо, которое ему суждено увидеть. Он не спеша и очень внимательно всматривался в дорогие черты, как путник, любующийся прекрасным пейзажем, который ему уж не увидеть вновь. Поручик смотрел и не мог наглядеться: мягкие сильные губы согревали холодную правильность этой красоты. Он наклонился и поцеловал их. Вдруг он заметил, что, хотя лицо жены не дрогнуло ни единым мускулом, из-под длинных ресниц закрытых глаз, поблескивая, катятся слезы.

Пойдем в спальню, предложил поручик, но Рэйко сказала, что прежде примет ванну. Он поднялся наверх один, вошел в спальню, успевшую прогреться от включенной газовой печки,

и, широко раскинувшись, лег на постель. Все было как обычно, даже час тот же. Сколько раз по вечерам лежал он так, поджидая жену.

Положив руки под голову, поручик смотрел на потолок, туда, где темнели не освещенные лампой доски. Чего он ждет – смерти или безумного чувственного наслаждения? Одно ожидание наслаивалось на другое, и казалось, что смерть и есть объект его вожделения. Как бы то ни было, никогда еще поручик не испытывал столь всеобъемлющего ощущения свободы.

За окном проехал автомобиль. Завизжали шины, скользя по заснеженной мостовой. Прогудел клаксон, стены домов отозвались эхом... Житейское море продолжало существовать своей привычной суетой, лишь здесь, в комнате, был одинокий островок. За его пределами простиралась огромная мятущаяся страна, которой поручик отдал свое сердце. Ради нее он жертвовал жизнью. Но заметит ли отечество гибель того, кто убьет себя ради идеи? Пусть не заметит! Поле брани поручика не будет осенено славой, ему не суждено проявить доблесть в бою, но именно здесь проходит линия фронта его души.

Послышались шаги поднимающейся по лестнице Рэйко. Крутые старые ступени скрипели под ее ногами. Поручик любил этот звук, как часто дожидался он в постели прекрасной музыки старой лестницы. Подумав, что сейчас он слушает знакомый скрип в последний раз, поручик весь обратился в слух, он желал насладиться каждым мгновением. И мгновения засияли радужными самоцветами.

Рэйко повязала поверх купального халата алый пояс, казавшийся в полумраке спальни почти черным. Поручик потянулся к узлу, Рэйко помогла ему, и пояс змеей соскользнул на пол. Муж просунул руки в широкие рукава халата, она прижала локтями его ладони к телу, и, ощутив прикосновение горячей плоти, он затрепетал от страсти.

Они сами не заметили, как остались обнаженными возле пылающей газовой печки.

Их души, тела и мысли были полны сознанием того, что это – в последний раз. Словно невидимая кисть написала слова последний раз на их коже.

Поручик прижал к себе молодую жену, и они слились в поцелуе. Его язык заскользил по ее рту; неведомая пока еще смертная мука обострила чувства, прикосновение обжигало, как раскаленное докрасна железо. Предстоящая агония придавала наслаждению неиспытанную доселе утонченность и чистоту.

– Покажи мне свое тело. Хочу полюбоваться им в последний раз, – прошептал поручик. Он повернул абажур лампы так, чтобы свет падал на постель.

Рэйко, закрыв глаза, лежала без движения. Свет, лившийся сбоку, рельефно оттенял все выпуклости и впадины прекрасной белой плоти. С эгоистичным удовлетворением поручик подумал, что, умерев первым, не увидит гибели этой красоты.

Не спеша запечатлевал он в памяти восхитительную картину. Одной рукой он погладил Рэйко по волосам, а другой медленно провел по милому лицу, нагнулся и припал губами, целуя уголки глаз. Ясный высокий лоб... Тень длинных ресниц под тонкими бровями... Прямой безупречный нос... Полные, красиво очерченные губы, влажная белизна зубов... Нежный румянец щек и маленький изящный подбородок... Перед поручиком будто предстал сияющий лик смерти, и он стал жадно осыпать белоснежное горло, куда скоро вонзится острие кинжала, поцелуями, пока кожа не порозовела. Потом он вернулся к губам и принялся ласково и ритмично водить своим ртом по рту Рэйко. Если закрыть глаза, можно было представить, что весь мир слегка покачивается на волнах.

Потом губы поручика послушно следовали за его взглядом. Затвердевшие от поцелуев соски, что увенчивали высокие груди, были похожи на почки горной вишни. Руки от плеч плавными округлыми линиями постепенно сужались к запястьям. Тонкие пальцы – те самые, что держали веер на свадебной фотографии, – застенчиво прятались в ладонь от горячих губ поручика. Ложбинка между грудью и животом сочетала податливость и упругую силу; ниже начинались крутые изгибы бедер, но здесь тело еще как бы было подчинено сдержанности и

дисциплине. Ослепительная белизна живота в приглушенном свете лампы напоминала налитое в широкое блюдо молоко; посередине темнела крошечная впадинка, словно след от дождевой капли. Ниже, где тени сгущались, чернела мягкая поросль волос; от трепетной, налитой страстью плоти все явственней исходил благоуханный аромат.

Дрожащим голосом Рэйко произнесла:

– Я тоже хочу... В последний раз...

Впервые обращалась она к мужу со столь решительной просьбой; казалось, нечто, до сих пор тщательно скрываемое робостью, вырвалось на волю. Поручик безропотно откинулся на спину. Белое женское тело приподнялось; желая во всем следовать примеру мужа, Рэйко ласково прикрыла пальцами неотрывно смотревшие на нее глаза.

В порыве нежности, с раскрасневшимся лицом она прижала к груди коротко остриженную голову мужа. Жесткий ежик волос больно колол кожу, нос поручика был холодным, а дыхание – горячим. Рэйко отодвинулась и впиалась взглядом в это мужественное лицо. Густые брови... Прикрытые веки... Крупный нос... Плотно сжатые красивые губы... Глянцево-синеватые после бритья щеки... Рэйко поцеловала милые черты. Потом – мощную шею, широкие плечи, выпуклую, словно заслоненную двумя щитками мускулов грудь. От подмышек, затененных могучими мышцами плеч и груди, шел сладковатый печальный запах, в котором странным образом ощущалось предчувствие смерти молодого тела. Кожа поручика отливала цветом спелой пшеницы, живот был прикрыт рельефным панцирем мускулатуры. Глядя на эту крепкую плоть, Рэйко представила ее искромсанной и растерзанной. Слезы ручьями хлынули из глаз, и она долго целовала живот мужа.

Почувствовав, что ему на кожу капают слезы, поручик обрел новое мужество, теперь он не сомневался, что вынесет любую муку.

Излишне рассказывать о том, какое блаженство испытали супруги после подобного прощания. Поручик сжал в могучих объятиях горько плачущую жену, лица обоих прильнули друг к другу с неистовой силой. Рэйко вся дрожала. Одно залитое потом тело слилось с другим, и, казалось, ничто уже не сможет их разъединить, они превратились в единое целое. Рэйко закричала. Она словно падала с огромной высоты в бездну, а потом, внезапно обретя крылья, вновь взмывала ввысь. Поручик задыхался, как полковой знаменосец на марше... Одна волна страсти сменялась другой, молодые супруги не ведали усталости в стремлении к новым и новым вершинам.

4

Когда поручик наконец оторвался от тела Рэйко, это не означало, что он насытился. Его вынудило остановиться опасение израсходовать силы, которые понадобятся для харакири. И еще ему не хотелось, чтобы последние прекрасные моменты их любви поблекли, размытые пресыщением.

Видя, что муж отодвинулся, Рэйко, как всегда, тут же подчинилась его воле. Обнаженные, они лежали на спине, держа за руки, и смотрели в темный потолок. Пот скоро высох, но жарко пылавшая печка не давала замерзнуть. Ночь была тиха, движение на улице уже прекратилось, а грохот поездов и трамваев от станции Ёцую сюда не долетал, приглушенный парком дворца Акасака. Находясь в этом мирном уголке столицы, трудно было поверить, что где-то сейчас готовятся к бою две враждующие армейские группировки.

Супруги лежали неподвижно, наслаждаясь идущим изнутри теплом и заново переживая минуты райского блаженства: каждый миг, вкус каждого незабываемого поцелуя, соприкосновение тел, ощущение счастья, от которого замирало сердце. Но с темных досок потолка на них уже смотрело лицо смерти. Наслаждение кончилось и больше никогда к ним не вернется. И

все же оба подумали: даже если бы им была суждена долгая жизнь, такого экстаза они никогда бы уже не испытали.

И их сплетенные пальцы – они тоже скоро разомкнутся. Не будет больше этого деревянного узора на потолке. Приближение смерти с каждым мигом ощущалось все явственнее. И времени больше не оставалось. Надо было собрать все мужество и самим шагнуть навстречу смерти.

– Ну что ж, пора готовиться, – нарушил молчание поручик. Слова были исполнены решимости, но никогда еще Рэйко не слышала, чтобы голос мужа звучал так ласково и мягко.

Они встали. Предстояло еще многое сделать.

Поручик ни разу не помогал жене убирать постель. Теперь же он сам быстро открыл шкаф и засунул туда скатанные футоны². Он выключил печку, поставил на место лампу, и комната, еще днем убранная Рэйко, приобрела такой вид, будто семья ожидала какого-то важного гостя.

– Сколько тут было выпито, – вздохнул поручик. – С Кано, Хоммой, Ногуты...

– Да, они любили застолье.

– Ничего, скоро мы с ними встретимся. Представляю, как они будут надо мной подшучивать, увидев, что я привел и тебя.

Прежде чем спуститься на первый этаж, поручик обернулся и окинул взглядом опрятную, ярко освещенную комнату. Перед его мысленным взором вновь предстали лица друзей, молодых офицеров, их шумные хмельные разговоры, наивное бахвальство. Не думал он во время тех веселых пирушек, что в один прекрасный день в этой самой комнате взрежет себе живот.

Сойдя по лестнице, супруги занялись приготовлениями. Поручик пошел в туалет, потом в ванную. Тем временем Рэйко аккуратно сложила купальный халат мужа и принесла в ванную его форму и новую накрахмаленную набедренную повязку. Положила на столик в малой гостиной листы бумаги для предсмертных писем и села натирать тушь. Для себя она уже решила, что напишет.

Пальцы Рэйко с силой терли палочку туши о золотые буквы тушечницы, и вода в ней мутнела и чернела. Рэйко запрещала себе думать о том, что ровные движения ее пальцев и монотонное шуршание служат одной цели – приблизить конец. Нет, это обычная работа по дому, средство провести время, оставшееся до встречи со смертью. Но податливость палочки, уже легко скользившей по тушечнице, усиливающийся запах туши – все это казалось ей невыразимо зловещим.

Из ванной вышел поручик, надевший мундир прямо на голое тело. Он молча сел, взял кисточку и нерешительно поглядел на чистый лист бумаги.

Рэйко отправилась переодеться в белое кимоно. Когда она, умывшись и слегка подкрасив лицо, вернулась в комнату, прощальное письмо поручика уже было написано.

Да здравствует Императорская Армия!

Поручик Синдзи Такэяма.

Рэйко села напротив мужа и тоже стала писать. Поручик очень серьезно и внимательно смотрел, как белые пальцы жены выводят по бумаге иероглифы.

Затем он пристегнул саблю, Рэйко засунула за пояс кинжал, и супруги, держа в руках предсмертные письма, подошли к алтарю и склонились в безмолвной молитве.

Погасив свет на первом этаже, поручик стал подниматься вверх. На середине лестницы он обернулся и поразился красоте Рэйко – та, опустив глаза, следовала за ним из мрака в своем белоснежном наряде.

² Ватный тюфяк.

Письма положили рядом, в токонома гостиной второго этажа. Поручик хотел снять со стены какэдзiku³, но передумал: там было выведено великое слово «Верность», и он решил, что их сват, генерал-лейтенант Одзэки, написавший эти иероглифы, извинит его, если до свитка долетят брызги крови.

Поручик сел на пол спиной к стене и положил саблю на колени. Рэйко опустилась на соседний татами; поскольку она была в белом, алая помада на губах казалась ослепительно-яркой.

Супруги сидели рядом и смотрели друг другу в глаза. Взглянув на саблю, что лежала поперек коленей мужа, Рэйко вспомнила их первую ночь, и грусть стала почти невыносимой. Тогда поручик произнес сдавленным голосом:

– У меня нет секунданта, поэтому резать буду глубоко. Наверное, зрелище будет не из приятных, но ты не пугайся. Любую смерть страшно наблюдать со стороны. Пусть это не лишит тебя мужества. Хорошо?

– Хорошо, – низко склонила голову Рэйко.

Глядя на стройную фигуру жены, облаченную в белые одежды, поручик вдруг почувствовал, что его охватывает странное хмельное возбуждение. Сейчас она увидит мужа в новом качестве, исполняющим свой воинский долг. Ибо ожидающая его смерть не менее почетна, чем гибель на поле брани. Он покажет жене, как вел бы себя в сражении.

На миг воображением поручика овладела захватывающая фантазия. Одинокая гибель в битве и самоубийство на глазах прекрасной супруги – он как бы готовился умереть в двух измерениях сразу, и это ощущение вознесло его на вершину блаженства. Вот оно, подлинное счастье, подумал он. Погибнуть под взглядом жены – все равно что умереть, вдыхая аромат свежего бриза. Ему выпала особая удача, досталась привилегия, не доступная никому другому. Белая, похожая на невесту, неподвижная фигура олицетворяла для поручика все то, ради чего он жил: Императора, Родину, Боевое Знамя. Все эти святые символы смотрели на него ясным взором жены.

Рэйко, наблюдая за готовящимся к смерти мужем, тоже думала, что вряд ли в мире существует зрелище более прекрасное. Мундир всегда шел поручику, но сейчас, когда он, сдвинув брови и сжав губы, смотрел в глаза смерти, лицо его обрело неповторимую мужественную красоту.

– Все, пора, – сказал поручик.

Рэйко низко, головой в пол, поклонилась ему. Куда-то вдруг ушли все силы – она никак не могла разогнуться. Плакать нельзя, сказала она себе, лицо накрашено. Но слезы текли сами.

Когда она наконец выпрямилась, то сквозь туманную пелену слез увидела, что муж, уже обнажив клинок, обматывает его белой тканью, чтобы осталось сантиметров двадцать голой стали.

Покончив с этим и положив саблю на пол, поручик скрестил ноги и расстегнул ворот мундира. На жену он больше не смотрел. Его пальцы расстегивали одну за другой плоские медные пуговицы. Обнажилась смуглая грудь, потом живот. Поручик снял ремень, спустил брюки – показалась ярко-белая ткань набедренной повязки. Он стянул ее пониже, еще больше открывая тело, и сжал в правой руке обмотанный белым клинок. Глаза поручика, не отрываясь, смотрели на голый живот, левой рукой он слегка поглаживал себя чуть ниже талии.

Забеспокоившись, достаточно ли остра сабля, офицер спустил брюки до половины и легонько полоснул себя по ноге. На коже вспыхнул красный рубец, кровь несколькими тоненькими ниточками побежала по бедру, посверкивая в ярком электрическом свете.

³ Каллиграфическая надпись на продолговатой полосе бумаги или шелка.

Рэйко впервые видела кровь мужа, у нее перехватило дыхание. Она взглянула ему в лицо. Поручик оценивающе осматривал разрез. Рэйко сразу стало спокойнее, хоть она и понимала, что это чувство облегчения ложное.

Тут поручик поднял глаза и впился в лицо жены жестким, ястребиным взглядом. Клинок он установил перед собой, а сам приподнялся, чтобы тело нависало над саблей. По тому, как напряглись мускулы плеч под кителем, было видно, что поручик собрал все силы. Он намеревался вонзить острие в левую нижнюю часть живота, как можно глубже. Яростный крик разорвал тишину комнаты.

Хотя поручик нанес удар сам, ему показалось, что кто-то другой проткнул его тело толстым железным прутom. В глазах потемнело, и на несколько мгновений он перестал понимать, что с ним происходит. Обнаженная сталь ушла в тело до самой ткани, кулак поручика, сжимающий клинок посередине, уперся в живот.

Сознание вернулось к нему. Клинок пронзил брюшную полость, это несомненно, подумал он. Дышать было трудно, грудь тяжело вздымалась, где-то очень далеко – не может быть, чтобы это происходило в его теле, – родилась чудовищная боль, словно там раскололась земля и из трещины вырвалась огненная лава. Со страшной скоростью боль подкатывала все ближе и ближе. Поручик впился зубами в нижнюю губу, сдерживая крик.

Вот оно какое, хакари, подумал он. Будто на голову обрушился небесный свод, будто зашатался и перевернулся весь мир. Собственные воля и мужество, казавшиеся несокрушимыми до того, как клинок впился в тело, вытянулись тонкой стальной ниткой, и мысль о том, что надо изо всех сил держаться за эту нитку, наполнила душу поручика тревожной тоской. Кулак, державший саблю, весь вымок. Офицер увидел, что и рука, и белая ткань покрыты кровью. Набедренная повязка тоже стала ярко-алой. Странно, что, испытывая эту муку, я так ясно все вижу и что мир существует, как прежде, подумал он.

С того самого момента, когда поручик пропорол себе саблей низ живота и лицо его страшно побледнело, словно на него опустился белый занавес, Рэйко изо всех сил боролась с неудержимым порывом броситься к мужу. Делать этого нельзя, она должна сидеть и смотреть. Она – свидетель, такую обязанность возложил на нее супруг. Муж был совсем рядом, на соседнем татами, она отчетливо видела его искаженное лицо с закушенной губой, в нем читалось невыносимое страдание, но Рэйко не знала, как помочь любимому.

На лбу поручика блестели капли пота. Он зажмурил глаза, потом открыл их вновь. Взгляд его утратил всегдашнюю ясность и казался бессмысленным и пустым, словно у какого-то зверька.

Мучения мужа сияли ярче летнего солнца, они не имели ничего общего с горем, раздиравшим душу Рэйко. Боль все росла, набирала силу. Поручик стал существом иного мира, вся суть его бытия сконцентрировалась в страдании, и Рэйко почудилось, что ее муж – пленник, заключенный в клетку боли, и рукой до него уже не достать. Ведь она сама боли не испытывала. Ее горе – это не физическая мука. У Рэйко возникло чувство, будто кто-то воздвиг между ней и мужем безжалостную стеклянную стену.

Со дня свадьбы весь смысл жизни Рэйко заключался в муже, каждый его вздох был ее вздохом, а сейчас он существовал отдельно от нее, в плену своего страдания, и она, охваченная скорбью, утратила почву под ногами.

Поручик попытался сделать разрез поперек живота, но сабля застряла во внутренностях, которые с мягким упругим упорством не пускали клинок дальше. Он понял, что нужно вцепиться в сталь обеими руками и всадить ее в себя еще глубже. Так он и сделал. Клинок шел тяжелее, чем он ожидал, приходилось вкладывать в кисть правой руки все силы. Лезвие продвинулось сантиметров на десять.

Боль хлынула потоком, разливаясь шире и шире; казалось, живот гудит, как огромный колокол, нет, как тысяча колоколов, разрывающих все существо поручика при каждом ударе

пульса, при каждом выдохе. Удерживать стоны было уже невозможно. Но вдруг поручик увидел, что клинок дошел до середины живота, и с удовлетворением ощутил новый приток мужества.

Кровь лилась все обильнее, хлестала из раны толчками. Пол вокруг стал красным, по брюкам защитного цвета стекали целые ручьи. Одна капля маленькой птичкой долетела до соседнего татами и заалела на подоле белоснежного кимоно Рэйко.

Когда поручик довел лезвие до правой стороны живота, клинок был уже совсем неглубоко, и скользкое от крови и жира острие почти вышло из раны. К горлу вдруг подступила тошнота, и поручик хрипло зарычал. От спазмов боль стала еще нестерпимей, края разреза разошлись, и оттуда полезли внутренности, будто живот тоже рвало. Кишкам не было дела до мук своего хозяина, здоровые, блестящие, они жизнерадостно выскользнули на волю. Голова поручика упала, плечи тяжело вздымались, глаза сузились, превратившись в щелки, изо рта повисла нитка слюны. Золотом вспыхнули эполеты мундира.

Все вокруг было в крови, поручик сидел в красной луже; тело его обмякло, он опирался о пол рукой. По комнате распространилось зловоние – поручика продолжало рвать, его плечи беспрерывно сотрясались. Клинок, словно вытолкнутый из живота внутренностями, неподвижно застыл в безжизненной руке.

Вдруг офицер выпрямился. С чем сравнить это невероятное напряжение воли? От резкого движения откинута назад голова громко ударилась затылком о стену. Рэйко, которая, оцепенев, смотрела только на ручеек крови, медленно подбирившийся по полу к ее коленям, изумленно подняла глаза.

Увиденная ею маска была непохожа на живое человеческое лицо. Глаза ввалились, кожу покрыла мертвенная сухость, скулы и рот, когда-то такие красивые, приобрели цвет засохшей грязи. Правая рука поручика с видимым усилием подняла тяжелую саблю. Движение было замедленным и неуверенным, как у заводной куклы. Поручик пытался направить непослушное острие себе в горло. Рэйко сосредоточенно наблюдала, как ее муж совершает самый последний в своей жизни, невероятно трудный поступок. Раз за разом скользкий клинок, нацеленный в горло, попадал мимо. Силы поручика были на исходе. Острие тыкалось в жесткое шитье, в галуны. Крючок был растянут, но воротник все же прикрывал шею.

Рэйко не могла больше выносить это зрелище. Она хотела прийти на помощь мужу, но не было сил подняться. На четвереньках она подползла к нему по кровавой луже. Белое кимоно окрасилось в алый цвет. Оказавшись за спиной мужа, Рэйко раздвинула края ворота пошире – это все, чем она ему помогла. Наконец дрожащее острие попало в обнаженное горло. Рэйко показалось, что это она толкнула мужа вперед, но нет – поручик сам из последних сил рванулся навстречу клинку. Сталь пронзила шею насквозь и вышла под затылком. Брызнул фонтан крови, и поручик затих. Сзади из шеи торчала сталь, холодно отливая синим в ярком свете лампы.

5

Рэйко медленно спустилась по лестнице. Пропитавшиеся кровью таби скользили по полу. На втором этаже воцарилась мертвая тишина.

Она зажгла внизу свет, завернула газовый кран и плеснула водой на тлеющие угли жаровни. Потом остановилась перед зеркалом в маленькой комнате и приподняла полы своего кимоно. Кровавые пятна покрывали белую ткань причудливыми разводами. Рэйко села на пол и задрожала, чувствуя, как подол, мокрый от крови мужа, холодит ей ноги. Долго она накладывала на лицо косметику. Покрывает щеки румянами, ярко подвела помадой губы. Грим предназначался уже не для любимого, а для мира, который она скоро оставит, поэтому в движении

кисточки было нечто величавое. Когда Рэйко встала, на татами перед зеркалом остался кровавый след, но она даже не взглянула на него.

Затем молодая женщина зашла в ванную и наконец остановилась в прихожей. Вечером поручик запер входную дверь на ключ, готовясь к смерти. Некоторое время Рэйко размышляла над несложной дилеммой. Открыть замок или оставить закрытым? Если дом будет на запоре, соседи могут не скоро узнать о смерти молодой пары. Ей бы не хотелось, чтобы люди обнаружили их тела, когда они уже начнут разлагаться. Наверное, лучше отпереть... Рэйко повернула ключ и слегка приоткрыла дверь. В прихожую ворвался холодный ветер. Ночная улица была пустынна, над верхушками деревьев, что окружали особняк напротив, мерцали звезды.

Рэйко снова поднялась наверх. Кровь на таби успела засохнуть, и ноги больше не скользили. На середине лестницы в нос ей ударил резкий запах.

Поручик лежал в луже крови, уткнувшись лицом вниз. Острые сабли еще дальше вылезло из его шеи.

Рэйко спокойно пересекла залитую кровью комнату. Села на пол рядом с мертвым мужем и, нагнувшись, сбоку заглянула ему в лицо. Широко раскрытые глаза поручика заворуженно смотрели в одну точку. Рэйко приподняла безжизненную голову, отерла рукавом окровавленное лицо и припала к губам мужа прощальным поцелуем.

Быстро поднявшись, она открыла шкаф и достала оттуда белое покрывало и шнур. Покрывало она аккуратно, чтобы не помять кимоно, обернула вокруг пояса, а шнур туго затянула поверх. Рэйко села на пол в одном шаге от тела поручика. Вынула из-за пояса кинжал, посмотрела на светлую сталь и коснулась ее языком. Гладкий металл был чуть сладковат.

Молодая женщина не колебалась ни секунды. Она подумала о том, что мука, отгородившая от нее мужа, скоро станет и ее достоянием, что миг соединения с любимым близок, и в ее сердце была только радость. В искаженном страданием лице поручика она видела что-то необъяснимое, таинственное. Теперь она разгадает эту загадку. Рэйко показалось, что только сейчас она ощущает сладкую горечь Великого Смысла, в который верил муж. Если прежде она знала о вкусе этого сокровенного знания только от поручика, то ныне испытает его сама.

Рэйко приставила кинжал к горлу и надавила. Рана получилась совсем мелкой. К голове прилил жар, затряслись руки. Она резко рванула клинок в сторону. В рот изнутри хлынуло что-то горячее, все перед глазами окрасилось алым – это из раны ударила струя крови. Рэйко собрала все силы и вонзила кинжал в горло по самую рукоятку.

Солнце и сталь

Эссе

В последнее время я стал чувствовать, как во мне накапливается нечто такое, чему не дает выхода объективистский вид искусства, именуемый художественной литературой. Мне не двадцать лет, и я не поэт-романтик (впрочем, я и в двадцать лет романтиком не был), поэтому я долго искал подходящий жанр и в конце концов изобрел некую трудноопределимую разновидность исповедальной прозы пополам с критической эссеистикой. Назовем мое изобретение «критической исповедью». Если исповедь – это ночь, а критика – день, то я буду держаться где-то на порубежье, в свете вечерних сумерек. Скажем так – «имярек в свете сумерек»; хотя повествование и ведется от первого лица, не думайте, что речь идет о моей персоне. С вами будет говорить, так сказать, «сухой остаток», образовавшийся после того, как слова сказаны. Они сказаны и ушли, а говорящее с вами «я» неподвластно движению слов.

Я долго размышлял, что же оно собой представляет, это самое «я», и был вынужден прийти к следующему выводу: оно как раз соответствует месту в пространстве, занимаемому моим телом. «Язык тела» – вот название того, чему я не мог найти определения.

Если уподобить «я» дому, то тело – это сад, окружающий жилище. Я мог по собственному усмотрению содержать свой сад в идеальном порядке или дать ему прийти в запустение, зарости сорными травами. Свободу этого выбора понимает не всякий. Многие считают, что над их садом властвует некая сила, которую они называют судьбой.

Однажды я решил привести мой сад в надлежащий вид и потихоньку приступил к работе. В качестве садовых инструментов я использовал солнце и сталь; неугасимое сияние светила и металл стали моими главными помощниками. И по мере того как на ветвях культивируемого сада зрели плоды, тело приобретало для меня все большее и большее значение.

Перемена стала заметна не сразу – не в один день, не в одну ночь. И разумеется, решение возделывать сад возникло не само собой, оно имело глубокие корни.

Когда я вспоминаю свое раннее детство, то оказывается, что память слов во мне появилась гораздо раньше, чем память тела. У нормальных людей жизнь начинается с ощущения своей плоти, а уж потом появляется слово. Ко мне же первыми пришли слова, а тело медлило, упрямылось. Когда я наконец с ним познакомился, оно уже обрело черты умозрительности и, конечно же, было все изъедено словами.

Обычная последовательность событий такова: стоит деревянный столб, потом в нем поселяются муравьи и начинают его грызть. В моем случае первыми возникли муравьи, и лишь затем постепенно появился наполовину источенный ими столб.

Не нужно пенять мне на то, что я сравниваю слова, орудие своего ремесла, с муравьями. Ведь что такое мое ремесло? Оно подобно гравировке – слова, как азотная кислота, вытравливающая медную пластину, разъедают реальную жизнь, превращая ее в произведение искусства. Пожалуй, это не совсем точное сравнение. Медь и азотная кислота, естественные творения природы, перед ее лицом равны, слово же и реальность – нет. Слова – это средство, с помощью которого реальность преобразуется в абстрактные образы, предназначенные для рассудочного восприятия. Они подвергают действительность коррозии и в этом процессе неизбежно корродируют сами. Попробую применить другое сравнение, более подходящее. Представьте себе желудочный сок, выделяющийся столь обильно, что он не только растворяет пищу, но и изъязвляет стенки желудка.

Многие, вероятно, не поверят, что подобное явление может происходить в душе ребенка, однако со мной случилось именно это. Разыгравшееся в моем сознании действо заставило меня стремиться к двум совершенно разным, противоположным целям. С одной стороны, мне хоте-

лось подхлестнуть коррозию реальности и превратить эту химическую реакцию в дело всей моей жизни; с другой стороны, во мне постепенно крепло желание вырваться в сферу, где слова не имеют никакой ценности, и там встретиться с подлинной действительностью.

Если человек родился на свет писателем и процесс его созревания идет естественно, так сказать, здоро̀во, два этих различных по своей сути устремления не враждуют друг с другом, а, наоборот, вступают в сотрудничество: совершенствование слова дает благословенные плоды – помогает заново открывать реальность. Именно «заново», ибо с самого начала жизни такой писатель уже обладал знанием реальности, постигнув ее плотью, когда это знание еще не было замутнено словами. В моем случае все обстояло иначе.

Учителей приводили в недоумение мои школьные сочинения, потому что в них не ощущалось ни малейшего контакта с действительностью. Очевидно, еще ребенком я инстинктивно угадал хитроумную, стерильную суть Слова и использовал лишь его позитивное корродирующее действие, избегая коррозии негативной...

Нет, выражусь проще: желая сохранить чистоту Слова, я стремился уберечь его от соприкосновения с жизнью... Я шевелил своими корродирующими щупальцами так осторожно, чтобы даже ненароком не задеть реальность, не подвергнуть ее коррозии. Так или примерно так было устроено мое сознание.

Естественным следствием подобных умонастроений стало то, что я соглашался признавать существование реального и телесного лишь в тех областях, где Слово бессильно. Так «реальность» и «тело» сделались для меня синонимами, объектом жгучего, почти фетишистского интереса. Я и сам не почувствовал, когда мое изначальное увлечение Словом распространилось и на эту сферу; таким образом, во мне уживались два фетишизма диаметрально противоположного толка.

Поначалу я был явным и несомненным сторонником Слова, предоставив реальность, тело, действие другим. Мое нынешнее предубеждение против всех и всяческих слов – безусловно, порождение этой искусственно созданной антиномии, да и глубоко укоренившееся в моем сознании непонимание сути реальности, тела, действия происходит из того же источника.

Антиномия эта зиждется на твердом убеждении в том, что я не властен ни над реальностью, ни над телом, ни над действием. Плоть вошла в мою жизнь с немалым опозданием, так что я встретил ее, успев вооружиться Словом. Полагаю, что под влиянием первого из упомянутых мною фетишизмов я отказался признать тело своей собственностью. Если бы я признал, что тело принадлежит мне, Слово утратило бы стерильность, реальность вторглась бы в мою жизнь, встреча с ней стала бы неизбежной.

Было одно примечательное обстоятельство: мое упорное нежелание признавать существование тела отчасти объяснялось неким глубоким, но по-своему прекрасным заблуждением. Я не знал, что мужское тело никогда не проявляет себя в виде объективной реальности. Мне казалось, что иначе просто не может быть. Когда же тело предстало передо мной, пугающим образом противореча реальности, отвергая самое ее существование, я пришел в ужас, словно столкнулся с кошмарным чудовищем, и ошибочно уверил себя в том, будто мой случай единственный в своем роде. Мне было невдомек, что и другие мужчины, *все* мужчины, рано или поздно делают для себя подобное открытие.

Страх и замешательство, порожденные этим заблуждением, неминуемо заставили меня выдумать для себя и реальность, и тело – какими, по моему мнению, они должны были бы быть. Поскольку мне и в голову не приходило, что тело всякого мужчины по самой своей природе отвергает собственную экзистенцию, я приписал выдуманному мною «идеальному телу» те качества, которыми не обладал. Раз, думал я, мое ненормальное сосуществование с собственной плотью вызвано корродирующим воздействием слов, то в «идеальном теле» и «идеальной действительности» слов не должно быть вовсе. Рисовавшееся моему воображению тело

должно было обладать двумя главными характеристиками: красотой формы и абсолютной безгласностью.

Если коррозия способна не только разрушать, но и творить, то плодом ее творчества как раз и будет «идеальное тело», рассуждал я. Высшее выражение словесного искусства – абсолютная имитация физической красоты, иными словами, поиск нетленной, неподвластной коррозии реальности.

В этой логике таилось явное противоречие, ибо я одновременно лишал Слово его основной функции и отбирал у реальности самую ее суть. И в то же время мой «метод» являл собой истинное чудо ловкости и мастерства, давая возможность уберечь Слово и его объект, действительность, от их встречи лицом к лицу.

Когда я начал писать, моя душа, сама о том не подозревая, сидела разом в двух седлах и пыталась управлять бегом своих несущихся в разные стороны коней, что под силу разве что одному только Богу. А жажда познать жизнь и тело тем временем становилась все сильнее...

Много лет спустя, благодаря солнцу и стали, я выучил новый язык – язык тела. Он стал для меня вторым родным, знанием не врожденным, а обретенным. Именно об этом своем образовании я и хочу рассказать. Полагаю, что в истории педагогики и воспитания другого такого примера не существует, поэтому разобраться в моей истории будет непросто.

В детстве на меня произвело неизгладимое впечатление зрелище храмовой процессии: толпа молодых парней тащила паланкин с алтарем, пребывая в состоянии полного экстаза – лица отрешенные, взгляд отсутствующий, некоторые даже глядели, запрокинув головы, куда-то ввысь. Я смотрел на них, безуспешно пытаюсь понять, что за таинственная сила светится в их глазах, и мое сердце наполнялось мучительным беспокойством. Мое воображение было не в силах уяснить природу массового опьянения неистовой физической нагрузкой. Долгие годы эта загадка не давала мне покоя, и ключ к ней отыскался, лишь когда я начал изучать язык тела, когда сам вместе с другими потащил на плечах алтарь. Оказалось, что мужчины просто смотрели в небо, и все. Никаких видений в это время перед их взором не возникало – только ярко-синее сентябрьское небо. Но зато другого такого неба в своей жизни я не видывал: оно было очень странным – то бесконечно удалялось ввысь, то вдруг лавиной падало вниз; оно постоянно преображалось, соединяя в себе прозрачный свет и безумие.

Тогда же я написал об этом явлении небольшое эссе – таким важным показалось мне мое открытие. Ведь синее небо, явленное моему поэтическому взору, ничуть не отличалось от того синего неба, которое видели окружавшие меня простые портовые парни, – этот факт был очевиден и несомненен. Я давно ждал такого момента, и вот он настал, благословленный солнцем и сталью. Вы спросите, почему мое единство с толпой показалось мне неоспоримым? Да потому, что, когда люди поставлены в одинаковые физические условия, несут одно и то же бремя, поровну делят тяготы да еще опьянены единым хмелем, – их индивидуальные различия сокращаются до минимума. К тому же опьянение подобного рода отлично от чисто интимного галлюцинирования, вызываемого наркотиком, – то, что я испытал, можно назвать коллективным, массовым галлюцинированием. Моя поэтическая интуиция на сей раз, впервые в жизни, вступила в свои права и реконструировала реальность при помощи слов уже после события, а это значит, что, глядя в беспрестанно меняющееся небо, я проникся новым для меня пафосом действия.

И там, в этой то вздымающей ввысь, то падающей вниз синеве, так похожей на гигантскую хищную птицу, я увидел истинную природу Трагического.

С давних пор у меня было собственное определение Трагического. Его пафос проявляется тогда, когда самое заурядное сознание вдруг возносится на необычайную, недоступную окружающим высоту. Для сознания, первоначально обладающего особо острой восприимчивостью, такой взлет заведомо невозможен. Вот почему тот, кто посвятил себя Слову, может лишь создать трагедию, но участвовать в ней – никогда. Есть и еще одно необходимое условие:

восхождение на высоты Трагического всегда основывается на физическом мужестве особого свойства. В момент, когда заурядное сознание, обладающее такого рода силой, соединяет в себе необходимые компоненты – боль, опьянение, невероятную остроту видения, – и происходит рождение Трагического. Назову еще некоторые условия: избыток совершенно «нетрагической» витальности, невежество и определенная неприспособленность к жизни. Для того чтобы человек мог на миг приблизиться к Божеству, в обычной жизни он должен находиться от небес как можно дальше.

Лишь увидев собственными глазами то невероятно близкое к Божеству синее небо, я уверовал в универсальность своего чувственного восприятия. И моя давняя жажда разом утолилась, моя слепая, болезненная вера в Слово растаяла как дым. Я ощутил себя участником трагедии, действующим лицом бытия.

Стоило мне один-единственный раз заглянуть в этот мир, и многое, прежде неведомое, открылось моему разуму. Работа мышц без труда разогнала мистический туман, сотканный словами. Мое прозрение было похоже на эротическое пробуждение юного тела. Я начал понимать и чувствовать, что такое жизнь и что такое действие.

Если бы я тут остановился, это означало бы только, что я, пусть с опозданием, вышел на путь, которым идет большинство людей. Но в моей голове уже зрел новый замысел. Нет ничего удивительного в том, что некая идея созрела во мне и со временем подчинила себе всю мою душу, размышлял я, – такое происходит сплошь и рядом. Но почему этот процесс всегда ограничен пределами одного лишь духа – в них зарождается, ими же и исчерпывается? Я так устал от многолетнего раздвоения души и тела! Разумеется, бывает и так, что движения души выплескиваются в сферу телесного: например, нравственные терзания порождают язву желудка или что-нибудь в этом роде. Но я имел в виду связь совсем иного свойства. Если в детстве моя плотская оболочка возникла в виде абстракции, изъеденной ржавчиной Слова, то нельзя ли обратить этот процесс вспять: взять идею и перенести ее из духа в плоть, выковать из собственной души стальные доспехи для тела?

Эта концепция, концепция Тела, проистекает из моего определения Трагического, о чем я уже писал выше. По моему суждению, тело обладает большей склонностью к восприятию идеи, нежели дух, оно способно впитать ее глубже и основательнее. Ведь для человеческого существа идея – понятие изначально чуждое. Точно так же для души чужеродным является тело, неподвластное контролю разума и управляемое собственными законами – произвольными сокращениями мышц, работой внутренних органов, процессами в системах циркуляции. Вот почему человеку не так уж сложно воспринимать собственное тело как метафору идеи, – в конце концов, они равно отдалены от нашего «я». Когда неистовое, роковое вторжение идеи подчиняет себе человеческую душу, зависимость, в которой оказывается последняя, весьма напоминает зависимость от своей плоти, так хорошо знакомую каждому из людей. Неконтролируемая, нерассуждающая приверженность идее невероятно схожа с узами, прикрепляющими дух к телу. Полагаю, именно на этом зиждется и христианский догмат Воплощения, и следы гвоздей, чудодейственным образом появляющиеся на ладонях и ступнях религиозных фанатиков.

Но возможности человеческого тела имеют свои пределы. Скажем, если вами овладевает неистово сильное желание вырастить у себя на лбу ветвистые рога, вряд ли у вас это выйдет. Ограничения плоти – чувство меры и равновесие, регулирующие телесное бытие. Чувство меры и равновесие способны создать усредненный тип красоты, способны они снабдить нас и теми физическими характеристиками, которые позволяют носильщикам алтаря видеть вибрацию неба. Но не более того. Чувство меры и равновесие выполняют особую, корректирующую функцию, беспощадно расправляясь с любой чрезмерно эксцентричной идеей. Их миссия – всякий раз возвращать человеческое «я» к исходной точке, где любые сомнения в собственном отличии от прочих особей людской породы становятся невозможными. Вот мое тело, думал я.

Оно – порождение идеи, и в то же время оно может стать идеальным прикрытием, плащом, в который идея завернется и спрячет свой лик. Если бы плоть сумела достичь безличной, совершенной гармонии, мое «я» навечно угодило бы под домашний арест. Я всегда полагал, что толстое брюхо (признак духовной неряшливости) и хилая грудь (признак чрезмерной чувствительности) крайне отвратительны, поэтому был несказанно удивлен, когда узнал, что находятся люди, считающие подобные физические изъяны привлекательными. Мне телесные несовершенства казались чем-то постыдным – ведь их обладатель, по сути дела, выставял напоказ срамные атрибуты своего духовного уродства. Пожалуй, это единственный вид нарциссизма, который я не способен понять и простить.

Долгие годы отстранение духа от плоти – плод изводившей меня потаенной жажды – было главной темой моих произведений. Отходить от нее я начал лишь тогда, когда в голову мне пришло, что и у тела может быть собственная логика, даже собственная идеология. Постепенно во мне зрела убежденность, что внешняя привлекательность и безмолвие вовсе не являются идеальными характеристиками плоти – она может быть и красноречивой.

Однако читатель, следя за ходом моей мысли, наверняка скажет, что я начал с трюизма, а затем вышел за рамки здравого смысла и заблудился в лабиринте алогизмов. Отчуждение духа от плоти стало настолько распространенным явлением в современном обществе, что на это сетуют все и каждый. Но это еще не дает оснований, скажет читатель, нести какой-то чувствительный вздор про идеологию и даже красноречие тела. Автор просто играет словами, пытаясь скрыть растерянность и замешательство.

Вовсе нет. Мое позднейшее открытие было предрешиено в тот самый момент, когда я попробовал поставить знак равенства между фетишизмом реальности и плоти, с одной стороны, и фетишизмом Слова – с другой. Итак, в левой части уравнения – безгласное красивое тело, в правой – прекрасное Слово, имитирующее физическую красоту. Стоило мне сопоставить два эти детища единой идеи, и я почувствовал, как начинаю освобождаться от пут Слова. Ибо само осознание того, что красота безмолвного тела и красота Слова происходят из общего источника, означало выход на чисто платоновскую идею равенства плоти и речения. Отсюда уже было рукой подать до следующего этапа, когда тень Слова ляжет на мою физическую оболочку (хотя подобное деяние, разумеется, совершенно не в платоновском духе). Оставался еще один, последний шаг, чтобы я в полный голос заговорил об идеологии и красноречии тела.

Но прежде я должен рассказать о своей первой встрече с солнцем.

Как ни странно это прозвучит, я встречался с солнцем всего дважды. Иногда бывает так: жизнь сводит тебя с человеком, с которым ты не расстанешься до самой смерти; при этом со временем обнаруживается, что вы оба мимоходом уже видели друг друга когда-то прежде, но в тот, первый, раз не придали значения этой встрече. Примерно так же произошло и у меня с солнцем.

Наша первая, мимолетная, встреча состоялась летом сорок пятого года. Только что закончилась война, и солнце неистово палило, выжигая буйные летние травы, которыми густо заросла граница между военной и мирной жизнью. Граница эта напоминала проржавевшие, полуразвалившиеся проволочные заграждения, едва видные сквозь зеленые заросли. Я шагал под жаркими лучами, не имея ни малейшего понятия о смысле солнечного сияния.

Плотный равномерный свет бесшумно лился с небес на землю. Трава, кусты, деревья зеленели точно так же, как во время войны, точно так же омывало их безжалостное полуденное сияние, покачиваясь знойным маревом под легкими дуновениями ветерка. Зрелище это показалось мне миражом, я коснулся листьев пальцами и был удивлен, когда видение не растаяло.

Долгие месяцы и годы солнце ассоциировалось у меня с распадом, гибелью, разрушением. Оно сверкало на крыльях взлетающих бомбардировщиков, на щетине штыков, на кокарях фуражек, на золотой вышивке знамен. Но, глядя на игру его бликов, я думал совсем о другом: о поблескивающей крови, льющейся из зияющей раны; о серебристых мухах, густо

обсевших бездыханное тело. Солнце, властелин смерти, увело молодых парней в южные моря и дальние горы, на неминуемую гибель, а потом торжествующе озарило своим слепящим сиянием пустынные, гниющие, кроваво-красные горизонты.

Образ солнца был для меня неотрывен от образа смерти. Разве мог я представить, что настанет день, когда светило осенит мою плоть благодатью? При этом я хорошо помню, как солнце военной поры будило во мне грезы о славе и сияющем величии.

В пятнадцать лет я написал такое стихотворение:

А солнце все так же сияет,
И люди возносят солнцу хвалу.
Лишь я избегаю солнца.
Я душу прячу в яму, во мрак.

До чего же я любил свою «яму», темную комнатку, где на столе стопками громоздились книги! Как нравилось мне неспешно рыться в собственной душе, укутываться в раздумья, прислушиваться к жужжанию чахлах жучков, копошившихся средь зарослей моих нервов!

Враждебность к солнцу была единственным проявлением моего юношеского недовольства героическим духом того времени. Сиянию дня я предпочитал ночь Новалиса и ирландские сумерки Йейтса. Я писал повести о крошечной тьме Средневековья. Однако после окончания войны до меня постепенно дошло, что теперь ненавидеть солнце – означает слиться с толпой.

В книгах, которые выходили в свет после поражения в войне, господствовал идейный мир ночи, и разница состояла лишь в том, что моя ночь была несколько эстетичнее. Особым почтением стала пользоваться уже совершенно крошечная тьма, по сравнению с которой даже густая, как мед, ночная чернота моей юношеской прозы казалась чуть ли не светом. И я утратил веру, питавшую меня в военные годы, в моей голове появились новые мысли: а может быть, я с самого начала, сам о том не подозревая, принадлежал к приверженцам солнца? Вероятно, так оно и было. Я пришел к выводу, что моя неприязнь к солнцу, моя упорная влюбленность в собственную ночь, маленькую и не похожую на другие, – это подсознательное желание шагнуть в ногу со временем и не более.

У людей, чьи помыслы отданы темноте, слабый желудок и сухая, лишенная глянца кожа – у всех, без исключения. Эта публика норовит окутать идеологическим мраком целые эпохи и отвергает солнце в любых его известных мне ипостасях. Мои взгляды на жизнь и на смерть эти люди тоже отвергают, поскольку в моем мировоззрении слишком много солнца.

Вновь я встретился с солнцем на палубе океанского парохода, мы заключили тогда мир и союз. Это было в 1952 году, я впервые в жизни отправился в заграничное путешествие. Но о своем рукопожатии с солнцем я уже писал в другой книге, поэтому повторяться не буду. Напомню лишь, что это была вторая наша встреча.

С того дня моя связь со светилом не прерывалась. Солнце стало главной дорогой моей жизни. Со временем оно покрыло мою кожу загаром в знак того, что отныне я принадлежу к его племени.

Но, скажете вы, разве сама человеческая мысль не принадлежит царству ночи? Разве не таится словесное творчество в жарком полуночном мраке?

Что ж, я не оставил своей давней привычки работать до рассвета, и окружает меня множество людей, чья бледная кожа неопровержимо свидетельствует об их принадлежности к племени ночных мыслителей.

Почему человек вечно устремляется в неведомые глубины, в самую бездну? Почему мысль, подобно свинцовому грузилу, способна двигаться лишь вертикально вниз? Отчего бы ей не изменить направление движения и не взмыть вверх?

Я не мог понять, почему человек с таким презрением относится к гаранту своей физической формы – собственной коже, отводя ей жалкую роль рецептора осязательных ощущений, и только. Почему мысль, стремясь достичь глубины, непременно должна погрузиться в бездонную пропасть, а если уж решит воспарить, то улетает в столь же непостижимые заоблачные высоты, начисто забывая о существовании тела? Законы динамики разума были для меня загадкой. Если природа мысли такова, что ей необходимо во что бы то ни стало сохранять линейно-вертикальное движение, то почему бы мозгу человека не попытаться обнаружить глубину и смысл в сложной, многосоставной субстанции, отмеряющей наши физические пределы и отделяющей внутренний мир от внешнего? Это казалось мне вопиюще аналогичным.

Солнце же вытягивало мою мысль из кишечных, ночных глубин чрева ближе к поверхности и свету – туда, где под золотистой кожей наливаются силой мускулы. Солнце приказывало мне построить для своих идей новое жилище, надежное и прочное, которое располагалось бы в непосредственной близости от моей телесной оболочки. Стенами этого нового дома должны были стать загорелая, сверкающая кожа и мощные, рельефно очерченные мышцы. Большинству интеллектуалов недоступна идеология физической формы именно из-за того, что эти люди не создали для себя подобного обиталища.

Идеология ночи – детище слабых, болезненных внутренностей; она возникает сама собой, прежде чем человек успевает понять, что, собственно, было отправным пунктом – идея или придушенный голос зарождающейся болезни. Втайне от хозяина плоть медленно, но верно формирует идеологию. В то же время внешний облик тела виден и понятен каждому, посему для создания идеологии поверхности тела необходимо сначала закалить, подготовить свою оболочку. Со мной было так: я увлекся идеей глубины телесной оболочки, а уж потом понял, что первоочередная задача – готовить свою плоть.

Мне было ясно, что гарантию дает только тренировка мышц. Кто поверит теоретику физического совершенства, если он слаб и хил? Можно, конечно, рассуждать, запершись в кабинете, об идеологии ночи, но разглагольствовать о проблемах тела – не важно, восхваляя его или принижая, – у тщедушного книжного червя права нет. Я очень хорошо, я бы сказал, слишком хорошо это понимал, а потому в один прекрасный день решил, что непременно обзаведусь роскошной мускулатурой.

Прошу читателя обратить внимание на следующее обстоятельство: мое решение целиком и полностью было продуктом разума. Тренировка тела делает непослушные мышцы послушными. Точно так же, по моему глубокому убеждению, можно тренировать и собственную идеологию. И мускулы, и идеи подвластны некоей властной силе – назовем ее законом природы, – которая привносит в их развитие определенный автоматизм, но мне не раз приходилось видеть, как меняют направление мощного речного потока, прорыв один-единственный узенький канал.

Это еще один пример единства тела и духа. Оба они склонны, попав во власть идеи, в мгновение ока создавать целую маленькую вселенную, где на первый взгляд будут царить полная гармония и порядок. На самом деле картина эта совершенно статична, но создает впечатление бурного центростремительного движения. Способность тела и духа сотворить пусть недолговечный, но совершенный макет мироздания напоминает действие миража или галлюцинации, и все же быстротечными мгновениями счастья, выпадающими на нашу долю, мы часто бываем обязаны этому иллюзорному ощущению гармонии. По сути дела, так проявляется оборонительная функция жизни, которая сжимается в клубок, как еж, и ошетиливается иголками против хаоса внешнего мира.

Таким образом, я имел возможность разрушить одну выдуманную вселенную и заменить ее новой, вырвать из цепких рук жизни процесс формотворчества и использовать его в собственных целях.

Я незамедлительно приступил к осуществлению этой идеи. Впрочем, вернее было бы назвать ее не «идеей», а «задачей», ибо отныне солнце и в самом деле каждый день ставило передо мной новую задачу, которую необходимо было выполнить.

Так в моей жизни возникла сталь, стальные слитки – темные, тяжелые, холодные, словно бы впитавшие и сконцентрировавшие в себе самую суть ночи.

Моя дружба со сталью длится уже больше десяти лет.

Этот металл обладает поистине удивительными свойствами: когда я понемногу увеличивал его вес, подкладывая на несуществующие весы все новые и новые гири, мои мускулы, находившиеся на другой чаше этих весов, тоже постепенно делались тяжелее. Казалось, что сталь взяла на себя обязательство сохранять строгое равновесие с моей мышечной массой. А со временем и мое тело стало все больше походить на металл. Этот неторопливый процесс весьма напоминал школьную систему обучения, когда мозг учеников, преодолевая все более сложные логические задачи, постоянно повышает уровень своего развития. Да и конечная моя цель была схожа с задачей, которую ставит классическое образование, – я тоже стремился к идеалу, к совершенной, классической форме тела.

Однако что было оригиналом, а что имитацией – воспитание духа или воспитание тела? Разве не прибегнул я к помощи Слова, чтобы воспроизвести классический идеал физической красоты? Прекрасное всегда казалось мне чем-то неуловимым. Ну и пусть – главное, что оно некогда существовало или хотя бы должно было существовать.

Благодаря сочетанию и тончайшим вариациям упражнений сталь помогала мне воскресить утраченный классический баланс плоти, вернуть мое тело к форме, которую ему полагалось иметь.

Организм мужчины обладает множеством мышц, которые в современной жизни стали, в общем-то, не нужны. Они столь же необязательны, как классическое образование, – во всяком случае, с точки зрения человека практического. Большинство мускулов превратились в некое подобие древнегреческого или латыни. Чтобы возродить этот мертвый язык, понадобился учитель, имя которому – Сталь. Без помощи этого наставника безмолвие смерти ни за что не превратилось бы в красноречие жизни.

Сталь научила меня соотносить телесное с духовным. Так, вялые чувства начали у меня ассоциироваться со слабыми мускулами, сентиментальность – с обвисшим животом, чрезмерная чувствительность – с болезненной, бледной кожей. В то же время выпуклые бугры мышц сделались синонимом бойцовского духа, подтянутый живот – признаком холодной решимости, упругая кожа – свидетельством крепкой и здоровой натуры. Оговорюсь сразу: я вовсе не считаю, что так оно всегда и бывает. Даже моего скудного жизненного опыта достаточно, чтобы знать – за мощной мускулатурой нередко скрывается трусливое сердце. Я имею в виду другое: для меня, человека, узнавшего Слово прежде, чем я узнал Тело, такие понятия, как «бойцовский дух», «холодная решимость», «здоровая натура», первоначально имели вид отвлеченных символов; для того чтобы облечь их плотью, я должен был каждый из них привязать к определенной физической характеристике.

Помимо тяги к классическому самовоспитанию я постоянно ощущал действие еще одного элемента – романтизма. С детских лет в моей душе присутствовало романтическое подводное течение, смысл которого сводился к одному – к разрушению классического совершенства. В увертюре оперы моей жизни романтизм звучал предвестьем одной из будущих главных партий. Я еще ничего не испытал и не достиг, а линия уже была намечена и предопределена. Выразюсь определенной: я испытывал романтическое влечение к смерти, однако необходимым условием для достижения этой цели считал обладание классически совершенным телом. Моя мечта была далека от осуществления, и я относился к этому на удивление фаталистически, находя для себя самое простое из оправданий – я не гожусь для смерти физически. Мне невозможно было представить себе романтически благородную гибель без атлетического торса с

рельефной мускулатурой. Хилое тело в объятиях смерти – что может быть комичнее и вульгарнее? Когда мне было восемнадцать, я грезил о ранней гибели, но отлично понимал, что не подхожу для подобной участи, поскольку не обладаю мускулатурой, соответствующей драматическому финалу. Мое романтическое чувство особенно страдало от мысли о том, что я пережил военные бури лишь благодаря своей физической неполноценности.

Все эти умствования ровным счетом ничего не стоили, ибо их мелодия терялась в увертюре жизни, в которой еще ничего не произошло. Сначала я должен был чего-то достигнуть или хотя бы что-то разрушить. И сталь дала мне такую возможность.

Когда я оказался у того предела, где большинство людей начинают ощущать удовлетворение от накопленных знаний, вдруг обнаружилось, что интеллектуальное развитие для меня – вовсе не мирный атрибут культурного образования, а грозное оружие, назначение которого – помочь мне выжить. С этого момента и возникла потребность в воспитании своего тела. Обычно бывает наоборот: человек, живший одной только физической жизнью, возле смертного одра своей молодости начинает ощущать потребность в интеллектуальном росте.

Благодаря стали я узнал много нового о своих мышцах. Это знание поразило меня новизной и свежестью, его невозможно было почерпнуть ни из книг, ни из жизненного опыта. Мускулы – это не только физическая форма, это еще и сила. Каждая их группа способна направлять энергию куда-либо, словно лучи света.

Форма, наполненная силой, – этот образ как нельзя лучше соответствовал моему давнему идеалу произведения искусства. К тому же этот органический шедевр еще и испускал лучи!

Создаваемые мной мускулы являлись одновременно принадлежностью бытия и предметом искусства; при этом парадоксальным образом они обладали всеми признаками абстракции. В них имелся всего один изъян – они были слишком тесно сплетены с жизнью, а потому вместе с ней обречены на увядание и гибель.

Я еще напишу об абстрактной сути атлетического телосложения, пока же скажу лишь, что мускулы обладают одним поистине бесценным для меня качеством: их действие противоположно действию слов. Это становится ясно, если вспомнить о происхождении Слова. Оно возникло в границах одного племени, выполняя функцию обмена чувствами и волей – на манер первобытных каменных денег. Пока Слово не стерлось от употребления, оно принадлежало в равной степени всем членам общины, а стало быть, могло выражать лишь эмоции, присущие всем и каждому. Постепенно, однако, Слово перешло в личную собственность, и всяк стал использовать его на свой вкус и лад, в результате чего и зародилось искусство игры словами.

Подобно рою мошкар, слова напали на меня со всех сторон, вознамерились подчинить себе мое «я», навеки запереть меня в своих пределах. Весь искусанный, я тем не менее исхитрился обратить против агрессора его же собственное оружие, одновременно являющееся его самым уязвимым местом, – я имею в виду универсальность Слова. Мне удалось благодаря использованию слов приоткрыть свое «я» окружающему миру.

Безусловно, я добился лишь того, что выявил свою непохожесть на остальных людей, то есть достиг результата, противоположного функции и задаче Слова.

Нет ничего диковиннее ореола славы, которым осенены вербальные искусства. Суть их сводится к парадоксу: на первый взгляд они ставят себе целью общедоступность и понятность, на деле же совершают коварное предательство, подрывая самую основу Слова – универсальность. Именно таков смысл победы литературного стиля над содержанием. Исключением являются, пожалуй, разве что древние эпические сказания, созданные многими безымянными творцами. Если же на обложке значится фамилия автора, можете не сомневаться – перед вами красивая, но дегенерированная мутация Слова.

Разве возможно выразить посредством слов синеву неба, того самого мистически-синего неба, в которое вглядываются носильщики алтаря? Я уже говорил, что испытываю по сему

поводу глубочайшие сомнения. Зато благодаря стали я обнаружил в собственных мышцах экстаз похоти, наслаждение быть таким же, как все. Под безжалостным давлением стали мои мускулы стали утрачивать свою индивидуальность (которая была порождением слабости и дегенерации!); по мере закаливания мое тело делалось все более безличным и универсальным; в конце концов оно достигло нормы, утратив какие бы то ни было признаки непохожести. Этой всеобщности уже не угрожали ни коррозия, ни предательство – а для меня ничего важнее не существует.

И тут обнаружилось, что мышцы, столь материальные – ведь их можно и увидеть, и пощупать, – начинают обретать черты абстракции. Казалось бы, в отличие от слов, мускулы никоим образом не связаны с коммуникативной функцией, а стало быть, заведомо лишены качества абстрактности, как правило возникающей только в сфере общения между людьми. И все же, все же, все же...

Как-то летним днем я подошел к окну, чтобы остудить разгоряченное тренировкой тело. Пот на сквозняке моментально высох, и по всей коже заструилась легкая ментоловая прохлада. Внезапно я почувствовал, что не ощущаю больше своих мышц. Прежде так бывало только со Словом: иной раз, разрушив своими абстракциями до основания конкретность вселенной, оно на время как бы и само перестает существовать. Теперь нечто подобное произошло с телом – оно тоже перемололо в порошок целый мир. Перемололо и тут же само исчезло.

Что` это был за мир, раздавленный моими мускулами?

Мир общепринятых представлений о бытии, в который мы верим больше по привычке. Он рухнул, и вместо него меня заполнило ощущение могучей полупрозрачной силы. Вот что я называю абстракцией. Опыт общения со сталью подсказывал мне, что мышцы и металл находятся во взаимной зависимости, напоминающей связь каждого из нас с внешним миром. Сила не является силой, если она не приложена к некоему объекту. На этом же принципе построены и наши отношения с окружающей действительностью; я стал зависеть от стали точно так же, как остальные зависят от внешнего мира, который формирует человека. Меня же выковывала сталь, постепенно передавая моим мышцам присущие ей свойства. На самом деле ни сталь, ни окружающий нас мир не обладают ощущением бытия, однако инерция мысли заставляет нас уверять себя, что, подобно нам, людям, и вселенная, и металл тоже сознают свое существование. Иначе, как нам кажется, мы не сможем убедиться в истинности нашей собственной экзистенции; и Атлас, держащий на плечах небесный свод, с легкостью уверит себя, что он и его ноша суть одно целое. Наше самоощущение нуждается в существовании объективного мира, вне выдуманной нами же релятивистской вселенной жить мы не можем.

И в самом деле, поднимая стальной груз, я чувствовал, что верю в свою силу. Я сражался за эту веру, пытаясь и обливаясь потом. В такие мгновения сила была нашим общим достоянием – моим и стали. Экзистенция становилась самодостаточной.

Но стоило мышцам расстаться со сталью, и их охватывало невыразимое одиночество; я чувствовал, что бугры и выпуклости на моем теле – это зубчатая шестерня, не имеющая никакого смысла без сцепляющегося с ней колеса. Меня обдуло ветерком, пот высох – и ощущение собственного тела исчезло... И все же именно в этот миг мускулы выполнили самую главную свою задачу: своими мощными зубцами они раскрошили релятивистский мир и создали мир прозрачной силы, мир чистых, беспримесных ощущений, не нуждающийся ни в каких посторонних объектах. Там даже мускулы стали ни к чему, и я оказался в средоточии абсолютной Силы, подобной лучезарному сиянию.

В чистом ощущении силы, которую мне не дали бы ни книги, ни аналитические изыскания, я открыл для себя подлинный антипод Слова.

Так, кирпичик за кирпичиком, возводился фундамент моей новой идеологии.

Создание новой идеологии начинается с попыток сформулировать главную, пока еще не вполне определившуюся идею. Перед тем как приступить к ловле, рыбак долго выбирает удочку по руке; так же поступает и фехтовальщик, тщательно подбирая бамбуковый меч нужного веса и длины. Когда же человек собирается изменить свое мировоззрение, он присматривается к смутно рисующейся ему концепции, пытается придать ей то одну форму, то другую, и в конце концов находит приемлемый образ, после чего идея делается его подлинной собственностью, проникает ему в душу.

С тех пор как я впервые испытал ощущение чистой силы, во мне возникло предчувствие, что это переживание станет ядром моей новой идеологии. Меня охватила тогда невыразимая радость, я предвкушал наслаждение особого рода: как я вволю наиграюсь с зарождающейся идеей, прежде чем она станет моей плотью и кровью. О, я не буду торопиться, постараюсь, чтобы концепция как можно медленнее обретала законченный вид, буду бесконечно экспериментировать с формой и всякий раз возвращаться к поразившему меня ощущению чистой силы – проверять, на правильном ли я пути. Я воображал себя собакой, зачарованной дивным запахом, который исходит от косточки. Как долго принимается к своему лакомству пес, как старается продлить удовольствие!

Сначала я попробовал примерить бокс, затем кэндо. Об этих своих экспериментах я еще расскажу, пока же замечу лишь, что мое стремление обнаружить ощущение чистой силы в ударе кулака или выпаде меча было совершенно естественным. В боксерской перчатке, в острие клинка есть нечто, самым неопровержимым образом доказывающее существование невидимого света, излучаемого мышцами. Я пытался дотянуться до абсолютного ощущения, находящегося где-то сразу за гранью возможностей человеческих органов чувств.

Там, за этой границей, где, казалось бы, царит пустота, явно что-то таилось. При помощи чистой силы я мог приблизиться к волновавшей меня загадке почти вплотную, на расстояние шага. Опираясь я на интеллект и художественное восприятие, мне не удалось бы подобраться и на десять, на двадцать шагов к цели. Наверное, искусство нашло бы средство для описания этого «нечто». Однако «средство» в моем случае означало «Слово», а я твердо знал, что абстрактная сущность слова стеной встанет на моем пути – ведь мои искания начались именно с неудовлетворенности художественным выражением как таковым.

Предавая Слово анафеме, не могу не остановиться на изначальной сомнительности акта, именуемого художественным выражением. С помощью слов мы вновь и вновь пытаемся выразить то, для чего определения просто не существует. И иногда, казалось бы, нам удается что-либо выразить! Такое случается, когда искусное сочетание слов распаляет воображение читателя до крайней степени; сила воображения делает сочинителя и читателя соучастниками преступления. И вот в результате преступного сговора внутри художественного произведения возникает нечто, чего там нет и быть не может. Люди называют этот фокус «творчеством» и очень им гордятся.

Когда-то Слово, орудие абстракции, появилось в конкретном мире посланцем Логоса, призванным положить конец всеобщему хаосу, а художественное выражение первоначально представляло собой попытку направить ток в обратную сторону, то есть воссоздать предметы и явления при помощи одной только речи, используя абстрагирующую функцию слов. Именно это я имел в виду, когда говорил, что литературные произведения – не более чем разукрашенная дегенерация Слова. Художественное выражение воссоздает одни образы, закрывая при этом глаза на существование других.

Как часто истина ленивцев принималась на веру во имя фетиша, именуемого «воображением»! Как облагородило это слово нездоровую склонность устремляться в глубины истины одним только духом, не утруждая усилиями тело! Присущая воображению сентиментальность заставляет чувствовать боль другого, как свою, но зато собственных болевых ощущений человек стремится не замечать. А как превозносит воображение душевные страдания, подлинную

меру которых на самом деле определить очень не просто! Когда заносчивое воображение вступает в преступную связь с самовыражением художника, на свет появляется фальшивка, называемая «произведением искусства», а взаимосуществование множества подобных подделок приводит к тому, что реальность трансформируется и искажается. В результате человек оказывается в каком-то мире теней и утрачивает способность воспринимать даже терзания собственной плоти.

По ту сторону удара кулака и выпада меча таилось нечто, находившееся на противоположном от вербального выражения полюсе. Я чувствовал, что это – квинтэссенция объективного мира, самый дух бытия. И уж во всяком случае это никак нельзя было отнести к разряду теней. По ту сторону боксерской перчатки и клинка набирала силу новая реальность, решительно отвергавшая любые абстракции, вообще не признававшая, что явление можно воспроизвести посредством рассуждений.

Я был уверен, что передо мной – средоточие Действия и Силы, однако в жизни называлось это куда проще: «противник».

Мы с ним были обитателями одной и той же вселенной, я видел его, он – меня, и мы оба обходились без пресловутого воображения, мы принадлежали миру Действия и Силы, где все можно увидеть воочию. Мой противник уж никак не являлся отвлеченным понятием или идеей.

Наши отношения с идеей строятся на совсем иной основе: к идее мы карабкаемся по лестнице из слов, можем подобраться к ней вплотную, пялиться на нее, даже ослепнуть от ее сияния, да только она на нас в ответ глядеть не станет. В мире же, где твой взгляд моментально сталкивается с ответным взглядом, для разглагольствований места и времени нет. Болтающий остается за пределами арены. Это означает, что на него никто не смотрит, благодаря чему у него и появляется возможность предаваться самовыражению – не спеша наблюдать и играть словами. Зато такому зрителю никогда не удастся постичь суть реальности, отвечающей на взгляд взглядом.

По ту сторону удара и выпада, в пустоте, на меня смотрели глаза противника, и в них я читал главный смысл осязаемого мира. Идея не способна впиваться взглядом, это могут делать лишь существа и предметы, принадлежащие объективной реальности. За пределами художественного выражения, создающего некий поддельный предмет (литературное произведение), просматриваются смутные очертания идеи; за пределами действия, создающего поддельное пространство (к примеру, противника), просматриваются смутные очертания предметного мира. Человеку действия не нужно` воображение, чтобы в силуэте этого мира увидеть фигуру смерти, похожую на черного быка, что мчится навстречу тореадору.

Я не мог в это поверить до тех пор, пока сам не увидел предметный мир, возникший где-то на самом краю моего сознания. Я давно догадывался, что сознание обладает только одним физическим подтверждением – болью. В телесном страдании, как и в силе, есть особое сияние; боль и сила состоят в тесном родстве.

Известно, что действие становится результативным, когда многократное повторение доводит его технику до бессознательного автоматизма, однако я стремился вовсе не к этому. С одной стороны, я проводил эксперимент с сознанием, двигаясь по линии тело – сила – действие. С другой стороны, я увлеченно экспериментировал с телом, стараясь добиться того, чтобы моя плоть через бессознательное повторение рефлексорных движений стала верхом совершенства. Я вел игру, делая две ставки разом; и истинным очарованием для меня обладала та точка, в которой абсолютная величина сознания слилась бы с абсолютной величиной тела в единую характеристику.

Меня никогда не привлекал искусственный дурман, достигаемый при помощи алкоголя или наркотиков. Сознание должно оставаться незамутненным, чтобы я мог проследить, как оно движется к своему пределу, преобразуясь там в бессознательную силу. Разве существует

на этом пути более надежный свидетель, чем физическая боль? Она явно связана с работой сознания, а потому оно тоже может выполнять роль свидетеля, наблюдая динамику страдания вплоть до самого финала.

Боль – единственное телесное доказательство существования сознания, а возможно, и единственное его физическое выражение. По мере того как мои мускулы росли и наливались силой, во мне зрела склонность к активному страданию, обострялся интерес к боли. Только не подумайте, что это работало мое воображение. Нет, я напрямую учился у солнца и стали.

Многим, должно быть, знакомо такое ощущение: чем точнее удар боксерской перчаткой или мечом, тем больше он похож на встречный удар, нанесенный противником. Собственная сила, ее выброс создает в пространстве подобие вмятины. Если тело противника оказалось как раз в пределах этой вмятины, в точности совпало с ней по форме, значит твоя атака была успешной.

Откуда возникает ощущение удачного удара? Разумеется, все зависит от расчета времени и расстояния, но правильность моментального решения определяется тем, успел ли ты заметить приоткрывшуюся щель в обороне противника. Нужно интуитивно почувствовать промашку перед тем, как она случится. Интуиция такого рода обитает где-то вне пределов рационального и достигается лишь длительной тренировкой. Тут нельзя сначала увидеть, а потом ударить. Когда пространство, расположенное по ту сторону клинка, сгустится и примет определенную форму, будет уже поздно. Удар должен был быть нанесен в момент, когда свершилось это превращение; впадине следовало совместиться с мишенью. Так выигрывают поединки.

Во время схватки такой всегда медленный процесс сотворения мускулов, когда сила обретает форму, а форма порождает силу, неимоверно убыстряется. Излучение силы, похожее на яркий свет, то разрушает форму, то создаст ее вновь. Я видел, как красота и совершенство одолевали уродство и неприглядность. В неправильной форме обязательно обнаруживался изъян, через который происходила утечка сияющей силы.

Противник терпит поражение, когда его тело занимает впадину, намеченную тобой для удара, но в этот миг очень важно, чтобы твоя форма не утратила правильности и красоты. Форма должна быть постоянно меняющейся, безгранично подвижной, почти жидкой – чтобы моментально принимать любые очертания. Непрерывное излучение силы должно быть одновременнодвигающимся и застывшим – как вода, образующая фонтан.

Такую текучую скульптуру помогает создать продолжительное закаливание солнцем и сталью. Творение это целиком и полностью принадлежит жизни, и главная его ценность состоит в прославлении каждого момента бытия. Именно в этом смысл ваяния: нетленный мрамор навеки запечатляет мгновенный гимн плоти.

А отсюда вытекает: смерть таится сразу за поворотом, следующий миг принадлежит ей.

Я чувствовал, что в моей руке ключ к пониманию внутреннего устройства героизма. В цинизме, взирающем на любого вида героизм с ухмылкой, непременно присутствует комплекс собственной физической неполноценности. Насмешки над героем всегда раздаются из уст человека, считающего, что сам он на подобное не способен. Непорядочнее всего то, что такой автор, излагая соображения тривиальнейшей логики, ни за что не упомянет о своем физическом несовершенстве (во всяком случае явно, чтобы это было понятно аудитории). Ни разу не приходилось мне слышать или читать, чтобы обладатель сильного тела, вполне годящегося для отважных поступков, издевался над героизмом. Цинизм всегда сочетается с хилой или, наоборот, заплывшей жиром плотью – в отличие от страстного нигилизма и героизма, обычной принадлежностью которых являются закаленные мышцы. А все дело в том, что героизм можно назвать главным принципом телесности, ведь, в сущности, он сводится к контрасту между расцветом плоти и мгновенным ее разрушением – смертью.

Тело само по себе обладает достаточным даром убеждения, чтобы камня на камне не оставить от насмешек, которыми осыпает его сознание. В атлетической фигуре ощутим налет

трагедийности; комичного же нет и в помине. Однако окончательно избавить здоровое, мощное тело от подхихикивания можно, лишь введя фактор смерти, который придает плоти достоинство. Представьте только, каким потешным показался бы вам ослепительно великолепный наряд тореадора, если бы это ремесло не было напрямую связано со смертью.

Когда стремишься к абсолютным ощущениям, миг победы в состязании радует не так уж и сильно. Ведь настоящим твоим противником, реальностью, что отвечала тебе взглядом на взгляд, была сама смерть, а ее, как известно, одолеть не может никто. Поэтому победа в поединке – не более чем мимолетная улыбка суетной мирской славы. А если так, то чем такая победа отличается от цели, к которой устремлены помыслы адепта художественного слова?

Зато в величайших произведениях скульптуры, например в бронзовом дельфийском вознице, мы ощущаем подлинную нетленность, ибо ваятелю удалось запечатлеть соединение славы, гордости и смущения, возникшее в миг победы, когда смерть дохнула атлету в самый затылок. Кроме того, в статуях еще есть предельность пространства, символизирующая конечность высшего пика земной славы и неминуемо ожидающее впереди увядание. Скульптор в своей неимоверной гордыне об этом не думал – ему хотелось лишь воссоздать мгновение триумфа жизни.

Итак, достоинство и торжественность тело обретает только в близости к гибели. Значит, решил я, путь должен лежать через страдание, боль и постоянное напряжение всех органов чувств, дающее доказательства бытия. Мне казалось, что неистовые предсмертные муки сочетаются с крепкими мускулами идеальным образом, лишь следуя эстетическим запросам судьбы. А ведь судьба, как известно, не часто прислушивается к голосу Прекрасного.

Нельзя сказать, чтобы на заре своей жизни я не имел ни малейшего представления о физических страданиях, но в те годы из-за мешанины в мыслях и чрезмерной чувствительности я путал боль с душевными терзаниями, не умея отличить одно от другого. Форсированный марш с винтовкой на плече через равнину Сэнгоку и перевал Отомэ к подножию Фудзи был тяжелым испытанием для хилого гимназиста, но я воспринимал тяготы и лишения того учебного похода как чисто пассивную, духовную муку. У меня не хватало мужества приветствовать страдание, самому стремиться к боли.

В древние времена способность выносить боль считалась доказательством мужественности и непременно проверялась в ходе ритуала инициации. Одновременно с этим обряд превращения мальчика в мужчину символизировал смерть и воскрешение к новой жизни. Но современное человечество успело забыть, какой глубокий конфликт между сознанием и плотью заключен в понятии мужества, прежде всего физического мужества. Принято считать, что сознание пассивно, а тело олицетворяет движение и смелость: однако в драме, имя которой «физическое мужество», эти роли получили противоположные знаки. Тело хочет ограничиться функцией самообороны, а ясное, незамутненное сознание подталкивает его ввысь, к полету, что ведет к саморазрушению и гибели. Предельная ясность сознания – самый важный фактор в отрешении от инстинкта самосохранения.

Назначение физического мужества – сносить боль. Поэтому в нем – источник соблазна, манящего нас вкусить смерти, понять ее; в нем – и первичное условие восприятия нами идеи будущего конца. Сколько бы ни рассуждал кабинетный философ о смерти, ему не подступиться к ее сути до тех пор, пока он не наберет достаточно физического мужества, чтобы признать факт ее существования. Я все время подчеркиваю: физическое мужество, потому что слова «совесть интеллигента» или «интеллектуальное мужество» для меня – пустой звук.

Однако приходится мириться с тем, что мне выпало родиться в эпоху, когда бамбуковый меч перестал быть символом меча стального, и даже в поединке настоящий клинок может лишь рассекать воздух. В фехтовании сконцентрирована вся красота мужественности, но, лишенная какого-либо общественного смысла, эта красота уже мало чем отличается от обычных видов

искусства, питающихся за счет художественного воображения, которое стало для меня ненавистным. Меня интересовало только такое кэндо, где нет и не может быть места фантазии.

Полагаю, что наиболее циничные из читателей отнесутся к этому моему признанию насмешливо – кому, как не им, знать, что самую большую ненависть воображение вызывает у мечтателя, предающегося фантазиям постоянно.

Однако мои мечты превращались в мускулатуру. Она существовала в реальности, то есть могла питать воображение других, но моим собственным фантазиям уже была неподвластна. Мое знакомство с миром людей, открытых чужим взглядам, шло все стремительней и стремительней.

Особенность мышц как раз в том и состоит, что, сами лишенные воображения, они стимулируют воображение смотрящего на них. Я пошел еще дальше: занявшись кэндо, я искал чистого действия, в котором вообще не нашлось бы места фантазированию – ни моему, ни чужому. Иногда мне казалось, что цель достигнута, временами же я чувствовал, что это не так. Но одно не вызывало сомнений: во время схватки моими руками, ногами, голосом управляла некая поселившаяся во мне сила.

Как получается, что тяжелая, темная, сбалансированная, статическая масса, именуемая мускулатурой, в момент действия обретает безумную неистовость? Я всегда любил ощущать свежесть и чистоту сознания, струящегося неостановимым ручейком даже во время высочайшего душевного напряжения. При этом я понимал, что не только у меня медь безумия инкрустирована серебром сознания, – это вообще свойственно человеческому интеллекту. Именно такая серебряная отделка объясняет безумие неистовства. Постепенно я пришел к мысли, что в основе ясности моего сознания – мощь неподвижных, геометрически правильных, безмолвных мышц. Иной раз, когда меч противника ударял не по доспехам, а по открытому телу, меня пронзала острая боль, и усилие совладать с ней возводило мое сознание на новую ступень. Когда же я начинал задыхаться, справиться с одышкой мне помогало накачивающееся неистовство... В такие мгновения я видел перед собой иное солнце, совсем не похожее на ясное светило, столь долго дарившее меня своей благодатью. Это новое солнце ярилось сполохами темных страстей; оно не обжигало кожу, но зато излучало странное сияние. То было солнце смерти.

Для интеллекта достаточно опасно даже соприкосновение с обычным светилом; второе же солнце таит в себе куда бо́льшую угрозу. Именно это меня больше всего и радовало...

Вы спросите, как тем временем развивались мои отношения со Словом.

Я уподобил свой литературный стиль мускулам. Он приобрел гибкость и независимость, жировые складки ненужной орнаментальности исчезли, а вместо них появились бугры мышц, без которых современная цивилизация вполне может обходиться, хотя в прежние времена они считались признаком мужества и красоты. Сухой, чисто функциональный стиль мне так же несимпатичен, как чрезмерная чувствительность.

Я оказался один на необитаемом острове. Не только мое тело, но и мой литературный стиль оказались в полном одиночестве. Моя манера письма отвергала любое влияние. Больше всего меня стало привлекать благородство; идеалом красоты мне теперь казалась строгая, обшитая деревом прихожая в старинной самурайской усадьбе, – такая, какой она выглядит в неярком свете зимнего дня. Впрочем, я не хочу сказать, что моя проза обладает подобным качеством...

Естественно, мой стиль чем дальше, тем больше противоречил веяниям эпохи. Он изобиловал антитезами, отличался старомодной тяжеловатостью, был не лишен определенного аристократизма, но при любых обстоятельствах сохранял церемониальную размеренность поступи, даже когда маршировал через чужие спальни. Мой стиль, подобно старому слуге, постоянно держал грудь колесом. К тем, кто сутулится, горбатится, сгибает колени или, упаси боже, вихляет бедрами, он относился с величайшим презрением.

Я знал, что в Море есть истины, которые можно разглядеть, только согнувшись в три погибели, но исследовать их я предоставлял другим.

Втайне я вынашивал план достичь единства жизни и искусства, литературного стиля и этоса⁴ движения. Если манеру письма сравнить с мускулами или этикетом поведения, то в ее функцию входит сдерживать произвол воображения. При этом какие-то истины неизбежно оказываются вне поля зрения, но тут уж ничего не поделаешь. И меньше всего меня заботило, что при таком подходе мой стиль лишается пугливого напряжения, свойственного смятению и хаосу. Я сам определил, какие именно истины меня занимают, а всеобъемлющей правды искать не стал. Меня не интересовали также правдочки слабые и уродливые; я разработал своего рода дипломатический протокол духа, позволявший справляться с болезнетворным влиянием чрезмерной игры воображения. Игнорировать или недооценивать это влияние было опасно. В любой момент трусливые отряды фантазии могли нанести предательский удар по крепости моего литературного стиля, которую я возвел с таким тщанием. Поэтому я бдительно охранял свой замок днем и ночью. Иногда с крепостной стены я видел, как вдаль, на темной равнине зажигается сигнальный огонь. Я говорил себе: это костер. Вскоре пламя гасло. Литературный стиль был цитаделью, оберегавшей меня от воображения и его верной тени – чувствительности. Я требовал от своего стиля одного: чтобы он не терял напряжения, все время был на вахте, как помощник капитана на корабле. Больше всего я ненавижу поражение. Я представлял себе, как меня заживо разъедает коррозия, как желудочный сок чувствительности сжигает мои внутренности, как я раскисаю и расплываюсь, растекаюсь жалкой лужицей; или, что то же самое, как я приспособляю свой стиль к размякшему, обессиленному времени и обществу. Разве бывает фиаско более позорное, чем это?

Как это ни парадоксально, подобное разложение, смерть духа нередко рожают истинные шедевры литературы – это факт общеизвестный. Наверное, появление такого шедевра можно назвать победой искусства, но это победа без борьбы; каковы, впрочем, и все триумфы художественного слова. Я же искал схватки – неважно, победоносной или гибельной. Меня не привлекало ни поражение без борьбы, ни тем более бескровная победа. Вместе с тем я хорошо знал, сколь обманчива природа войн, разгорающихся внутри искусства. Если я стремился к схватке, мне достаточно было оборонять крепость своей литературы, а наступательные действия следовало вести в иных сферах жизни. В том, что касается моего стиля, я должен был стать хорошим защитником, в остальном же – хорошим нападающим. Иными словами, мне предстояло овладеть всем тактическим арсеналом борьбы.

В послевоенные годы, когда рухнули все существовавшие прежде общественные ценности, я считал (и часто говорил другим), что настало время возродить классический японский идеал единства культуры и боевого духа, литературы и меча, Слова и Действия. Затем я охладил к этой идее. Когда же я научился у солнца и стали секретному искусству лепить Слово из Тела (а не наоборот, как прежде), во мне возникло равновесие двух разнозаряженных полюсов, и постоянный ток в моей душе уступил место току переменному. Изменился сам мой внутренний механизм – теперь я ощущал в себе как бы работу генератора переменного тока. И тогда я изобрел новый способ существования: два несмешивающихся, противоположных по своей сути потока, которые, казалось бы, должны были вбить клин в мою душу и расколоть ее пополам, на самом деле создали вечно обновляющееся равновесие, где погибшее тут же возрождалось к жизни, чтобы снова погибнуть и возродиться. Мой собственный вариант единства Слова и Действия зиждился на признании биполярности моего внутреннего устройства со всеми его конфликтами и противоречиями.

Когда я достиг этой стадии, мой давний интерес к антиподу Слова начал приносить первые плоды. Идеал действия – испепеляющее стремление к смерти; но проявляется оно не в

⁴ *Этос* (греч.) – характер, обычай, нрав, норма поведения (производное от слова «этос» – слово «этика»).

апатии и безволии, а в бьющей через край силе, расцвете жизни и бойцовском духе. Это и есть антипод литературы. Слово же использует смерть одновременно как двигатель и как средство сдерживания; вся сила уходит на строительство громоздких воздушных замков. Жизнь при этом тщательно оберегается, упаковывается для длительного хранения; ее чуть-чуть приправляют смертью, вводят необходимые консерванты – и все для того, чтобы создать неестественно долговечное произведение искусства. А можно привести и другую метафору. Если Действие – это роняющий лепестки цветок, то Слово – сотворение цветов нетленных. Не будем только забывать, что нетленные цветы – это цветы искусственные.

Идеал единства Слова и Действия ставит целью соединить живое цветение с вечностью, то есть совместить два противоположных устремления человеческого духа, осуществить обе эти мечты разом.

К чему это приведет? Если одна из двух истин верна, то вторая неминуемо окажется ложной. А это значит, что постижение сути обеих истин, исследование их происхождения, разгадывание их тайн закончится тем, что они лишатся иллюзий относительно друг друга. Возьмем Действие. Почитая себя за истину, оно относится к Слову как к иллюзии, но при этом вверяет ему роль свидетеля своей подлинности; именно Слову, оперирующему фантазиями, поручает оно распоряжаться своими мечтами – так рождаются эпические поэмы. Но литературе свойственно считать, что истинна она, а Действие – не более чем фантом. Тем не менее на самую вершину создаваемого ею сложного художественного мира она возводит именно Действие, устремляясь к этому миру всеми своими помыслами. В конечном итоге литература оказывается вынуждена признать, что уготованная ей гибель – не плод иллюзии, что если истинен труд писателя, то за ним неизбежно следует и другая реальность – смерть. Это поистине страшная кончина, приходящая к тому, кто так и не жил. И все же человек, почитающий истинной Слово, часто грезит об этой квазисмерти, принадлежащей вымышленному (так он думает) миру Действия.

Мечтам Слова о Действии, как и грезам Действия о Слове, суждено рухнуть. И тогда становится очевидной правда двоякого рода. Действие осознает, что чаровавшие его цветы фантазии – искусственные; Слово же открывает для себя, что соблазнявшая его химерическая смерть не несет с собой никакой благодати.

Таким образом, путь соединения Действия со Словом исключает возможность обрести спасение в мечтах. Две тайны, которым не следует встречаться лицом к лицу, прозревают друг друга насквозь. Тот, кто отважился пойти этой дорогой, должен хладнокровно взирать, как на его глазах в прах рассыпаются и принцип жизни, и принцип смерти.

Под силу ли человеку подобное? К счастью, принцип единства Слова и Действия в абсолютно чистом, беспримесном виде встречается крайне редко. Если такое и происходит, то на миг, не более. Дело в том, что две противоречащие друг другу тайны обычно осознаются нашим разумом в форме смутной тревоги, неясного предчувствия и окончательное подтверждение получают лишь на самом пороге смерти. Человек, избравший путь Слова и Действия, в последнее мгновение своей жизни, когда лелеемый им двуединный идеал, казалось бы, совсем рядом, обязательно предаст его – не с одной стороны, так с другой. Самозабвенно следовать этому идеалу можно, только опираясь на силу жизни. Когда в свои права вступает смерть – измена неминуема. Иначе испытание смертью не вынести.

Пока мы живы, нам доступны любые игры с сознанием. Свидетельство тому – спорт с его многочисленными псевдосмертями и безболезненными воскрешениями. Когда из наслоения множественных мини-гибелей рождается равновесие, победа сознания гарантирована.

Поскольку мое сознание вечно зевало от скуки, интерес у него могла вызвать лишь очень трудная, почти недостижимая цель. То есть такая опасная игра, ставкой в которой стало бы оно само, мое сознание. Каким сладостным показался бы мне тогда освежающий душ после матча!

Было время, когда мне ужасно хотелось узнать: как ощущает внешний мир здоровяк с объемом грудной клетки больше метра? В качестве задачи познания это представлялось мне совершенно недостижимым; обычно познание копошится во тьме, выпуская вперед щупальца интуиции и ощущений; но в этом случае щупальца были вырваны с корнем, ибо поиск вел я, а весь арсенал чувств и экзистенции принадлежал объекту исследования.

Подумайте сами. Мироощущение мужчины с объемом грудной клетки больше метра должно охватывать всю вселенную; если же этот атлет становится сферой изучения, то все окружающие предметы (включая и меня) автоматически превращаются в частицы объективной реальности, регистрируемой его органами чувств. Чтобы познать такого человека, нужно прибегнуть к еще более всеобъемлющему видению мира, нежели у него. Примерно так мы поступаем, когда хотим получить представление о внутреннем мире чужеземца. Нам приходится оперировать гипотетическими мерками, прибегая к абстрактно-всеохватным понятиям вроде «человечества» и «человеческой природы». Точного знания подобным методом добыть невозможно, поскольку полагаться приходится на аналогии. При этом истинная суть предмета остается сокрытой, вопрос не получает прямого ответа; выяснить то, что более всего интересовало исследователя, не удастся. И тут в образовавшуюся брешь врывается воображение, со своими декоративными завитушками вроде поэтизирования и фантазирования.

Но внезапно обнаружилось, что я более не нуждаюсь в домыслах. Мое скучающее сознание, долго томившееся неразрешимой загадкой, вдруг открыло для себя, что никакой загадки-то и нет... Дело в том, что окружность моей грудной клетки, оказывается, уже перешла за сто-сантиметровую отметку.

Вот и сам я очутился на противоположном берегу, среди людей, на которых прежде взирал издали. И туман рассеялся; единственной загадкой осталась смерть. Это неожиданное прозрение вовсе не было победой моего сознания, а потому моя гордыня почувствовала себя уязвленной. Мое разобитое сознание вновь скучающе зазевало и начало продавать себя столь ненавистному мне воображению и его вечной спутнице – смерти.

В чем же разница? Если глубинный источник подкрадывающегося в ночи, болезненного, сентиментального, самозабвенно чувственного воображения таится в смерти, есть ли здесь различие с концепцией героической гибели? Чем романтический финал отличается от простого увядания? Безжалостность доктрины единства Слова и Действия, исключающей всякий шанс на спасение, подводит к заключению, что разницы нет. Таким образом, и этос литератора, и этос Действия – не более чем жалкие попытки сопротивляться смерти и забвению.

Если различие и есть, оно сводится к следующему: входит ли в понятие чести – бесстрашие взглянуть смерти в глаза. С этим фактором непосредственно связано и то, имеет ли место эстетизация смерти, то есть наличествует ли элемент трагедии, романтики гибнущего тела. Судьба несправедлива – люди рождаются на свет неравными, да и удача в жизни выпадает далеко не всякому. Точно так же своенравна и «красивая смерть» – рок сам решает, кого наградить ею. Впрочем, в наши времена мало кто придает этому значение; моим современникам, в отличие от древних греков, несвойственно стремление красиво жить и красиво умирать.

Почему мужчина входит в соприкосновение с Прекрасным, только когда погибает трагической смертью? Да потому, что в повседневной жизни общество зорко следит за тем, чтобы он не смел и близко подходить к Прекрасному. Красота мужского тела – не объект для восхищения, к ней относятся пренебрежительно. Скажем, профессия актера, требующая от мужчины, чтобы он все время находился на виду у публики, не пользуется в обществе истинным уважением. Во всем, что касается красоты, на мужчину наложены строжайшие ограничения. Ему запрещено объективизировать себя – достичь этого он может лишь наивысшим проявлением Действия, то есть опять-таки своей гибелью. Лишь в этот миг красота мужчины признается, лишь в этот миг на мужчину *можно смотреть* (хотя на самом деле никто, конечно, его смерти не видит).

Безусловно, прекрасна, например, гибель летчиков-камикадзе – причем не только в духовном смысле. Для большинства мужчин в ней есть и сверхэротическая красота...

Здесь объективизация происходит, но лишь благодаря присутствию посредника, в качестве которого выступает героический поступок, превосходящий возможности обычного человека. Как бы ни тщились слова приблизиться к этому посреднику, им это недоступно – как недоступно самолету угнаться за световым лучом.

Но я сейчас веду речь вовсе не о красоте. Этот предмет требует куда более глубокого изучения. Я же лишь хочу выстроить цепочку самых различных понятий и идей, перебрать их, как четки слоновой кости, и определить роль каждой.

Итак, я сделал открытие, что воображение имеет своим потаенным источником смерть. Вывод напрашивался сам: не нужно держать круглосуточную оборону против воображения, с детских лет терзавшего меня своими атаками; я должен использовать своего давнего врага для контрудара. Но в литературе делать это было поздно, поскольку мой хваленый стиль успел понастроить стен и частоколов, преодолеть которые воображению уже не удастся. Стало быть, если наносить контрудар, то в чистом поле, вне цитадели искусства. Именно это соображение в первую очередь и подтолкнуло меня к Действию.

Детство я провел у окна, жадно глядя в даль и надеясь, что ветер принесет оттуда тучи События. Я знал, что мне самому изменить мир не под силу, поэтому осталось уповать только на одно: все изменится само по себе, без моего участия. Одолеваемому тревогами мальчику перемены были необходимы как воздух, причем перемены каждодневные – без них я бы просто не смог жить. Я нуждался в Событии не меньше, чем в трехразовом питании или сне; это была утроба, в которой зрело мое воображение.

Мир действительно постоянно менялся и в то же время оставался неизменным. Если он принимал ту форму, о которой я давно мечтал, то немедленно, прямо в миг превращения, утрачивал всякое очарование. Я никогда не мечтал о счастье – лишь о потрясениях и катастрофах. Более всего меня устроила бы такая повседневность, при которой вселенная медленно, но верно двигалась бы к краху; когда настали мирные дни, я почувствовал себя неудобно, мне стало трудно жить.

У меня тогда еще не было панциря из мускул, чтобы выдержать такое испытание. Весь мой вид говорил: я слаб, я не умею сопротивляться. Да, я просто ждал очередного События, твердо зная, что не стану бороться, а покорно приму новые правила. Много позднее я вдруг понял, что психологическое устройство того юного декадента поразительно напоминало мировосприятие самурая. Не хватало, увы, главного – силы и воли к борьбе. От этого открытия у меня закружилась голова. Я понял, что у меня есть шанс превратить воображение в свое оружие.

Для меня естественный образ жизни – ежедневная и несомненная близость к смерти. Получалось, что я могу достичь этого состояния, не прибегая к искусственным, механическим ухищрениям; элементарная и совершенно неоригинальная концепция Долга давала мне все необходимое. Устоять перед таким искушением было свыше моих сил, и я решил перековать свое воображение в чувство Долга – этот путь представлялся самым коротким. Я не знаю более ослепительного мига, чем тот, когда сила воображения, прежде устремленная исключительно к смерти и всеобщему разрушению, вдруг превращается в понятие Долга. Однако сначала предстояло закалить тело, обрести силу, освоить дух и технику боя. Действовать можно было теми же методами, какими я развивал когда-то воображение. Ведь и фантазия, и меч в конечном итоге устремлены к одной цели – ощутить близость к смерти. Усовершенствование обоих этих искусств позволяло отточить мастерство самоуничтожения.

Голос, призывавший отполировать мое воображение, как полируют стальной клинок, и обратить его в сторону смерти и опасности, давно звучал мне из дальнего далека, но из-за слабости и малодушия я делал вид, будто ничего не слышу. Следовало день за днем наполнять

свое сердце смертью, фокусировать каждое мгновение на этом неотвратимом финале, и тогда мечты о наихудшем, что только может ожидать человека, станут неотличимы от грез о славе... А если так, задача мне представлялась несложной: достаточно было действовать в мире тела теми же методами, которые я столь искусно применял в мире духа.

Я уже писал, что прежде следовало подготовить свою плоть, дабы она в любой момент могла воспринять такое радикальное превращение. У меня появилась целая теория, гласившая, что нет ничего невозможного и невозпроизводимого. Раз можно воссоздать даже плоть, эту вечную пленницу времени, расцветающую и увядающую вместе с ним, то наверняка есть шанс возродить и самое время. Я не находил в таком допущении ничего странного.

Возможность возродить время означала для меня одно: прекрасная смерть, доселе представлявшаяся мне недостижимой, тоже в моей власти. И вот за последние десять лет я научился многому – силе, страданию, борьбе, преодолению себя; главное же – я научился мужеству преодолевать все эти испытания с радостью.

У меня появилась мечта – стать настоящим воином.

...Рискованное дело – рассказывать о счастье, которое не нуждается в словах.

Однако, надеюсь, читателю уже ясно, что для достижения счастья (в моей трактовке этого состояния) необходимо создать целый ряд весьма непростых предпосылок и пройти необычайно сложную процедуру подготовки.

Как-то мне довелось очень недолго, всего полтора месяца, жить жизнью солдата. Я испытывал тогда немало мгновений сияющего счастья, об одном из которых, самом всеобъемлющем и незабываемом, непременно должен написать, хоть ничего воинственного или значительного в том переживании не было. Я жил тогда среди своих товарищей, в коллективе, но миг наивысшего счастья, как это всегда случалось в моей жизни, пришел ко мне, когда я был наедине с собой.

Это произошло 25 мая, чудесным летним вечером. Я был приписан к отряду парашютистов. Тренировка закончилась, и я, приняв душ, возвращался в казарму один.

Предзакатное небо было окрашено в сине-розовые цвета, трава на просторных газонах отливала нефритом. По обе стороны дорожки раскинулся военный городок – ветхие, ностальгического вида деревянные постройки бывшего кавалерийского училища. Конный манеж стал гимнастическим залом, конюшня превратилась в узел связи.

Я был в тренировочном костюме: выданных накануне белых рейтузах, кроссовках и ветровке. Рейтузы уже успели запахаться землей, и это еще более усиливало ощущение блаженства.

Утренние тренировки по управлению парашютом даже после душа и бани отзывались легкой ломотой в суставах, а потом были учебные прыжки с одиннадцатиметровой вышки. Впервые в жизни я прыгал в открытое пространство, и это неповторимое чувство, хрупкое и полупрозрачное, как церковная облатка, все еще жило в моем существе. Затем я участвовал в кроссе по пересеченной местности, в беге на скорость, и теперь, когда все осталось позади, усиленная работа дыхания напоминала о себе сладкой тяжестью во всем теле. Здесь, в армии, я всегда находился рядом с оружием, мое плечо в любую секунду готово было принять груз винтовки. За минувший день я вдоволь набегался по зеленой траве, моя кожа приобрела золотистый оттенок, и еще – я стоял под солнцем и видел, как далеко внизу, под парашютной вышкой, короткие тени накрепко прилипли к ногам смотрящих вверх. В следующий миг и моя тень, действовавшая сама по себе, безо всякой связи со мной, одиноким черным пятном возникла на траве – это я ринулся ей навстречу с серебристой башни. Несколько секунд я просуществовал без тени, без гнета самоощущения.

Мой день был полон Действия и жизни тела. Я испытал возбуждение, наслаждение силой; мои мускулы напрягались, пот лил рекой. И вот я возвращался обратно. Вокруг расстился

зеленый ковер трав, легкий ветерок кружил над дорожкой мелкую пыль, косо светило вечернее солнце, рейтузы и кроссовки сидели на мне так, будто я в них родился. Именно о подобной жизни я и мечтал. Наверное, такую же грубоватую радость ощущает учитель физкультуры, когда после жаркого дня, наполненного красотой и хмелем физических нагрузок, в одиночестве возвращается домой; с одной стороны от него – стена старой школы, с другой – кусты и деревья аллеи...

Мой дух замер в абсолютном покое, тело достигло высшего предела чистоты. Я буквально пьянел от счастья, глядя на синеву опустевшего после дневных трудов неба, на меланхолические лучи, просачивавшиеся сквозь густую листву. Я несомненно существовал!

До чего же непросто было достигнуть этого состояния! И вот я добился своего: идеальные образы, ставшие для меня чем-то вроде фетишей, без всякой помощи слов снизили благодатью на мои чувства и тело. Армия, спорт, лето, облака, вечернее солнце, зелень травы, белый тренировочный костюм, пыль, пот, мышцы – у меня было все, включая и едва уловимый аромат смерти! В этой мозаике каждый фрагмент был на своем месте. Я не нуждался ни в какой посторонней помощи – ни со стороны людей, ни со стороны Слова. Мой мир был сложен из элементов поистине ангельской чистоты, все примеси на время исчезли, и я купался в лучах неохватного блаженства, чувствуя свое единство со вселенной. Это отдаленно напоминало ощущения купальщика, когда его разгоряченная солнцем кожа погружается в водную прохладу.

...Вполне вероятно, что счастьем я называю те моменты, которые другим кажутся смертельно опасными. Ведь мир, в котором я растворился, отказавшись от посредничества слов, и где достиг блаженства, исполнен трагичности. Разумеется, роковая развязка еще впереди, но все компоненты трагедии в нем наличествуют, гибель неизбежна, понятие «будущего» исключается. Я чувствую себя счастливым потому, что знаю: я обладаю теми качествами, которые дают право жить в таком мире. Я горд тем, что вид на жительство достался мне не благодаря Слову, а благодаря физическому самоусовершенствованию. Лишь там я дышу вольно и спокойно, ибо не ощущаю гнета повседневности, бремени будущего. Именно такой жизни я жаждал с самого окончания войны. Слово не смогло дать мне желаемого; куда там – оно, наоборот, гнало меня прочь от заветной цели. И это понятно, ведь любые самые разрушительные слова для писателя суть атрибуты повседневности.

Какая злая ирония! Когда эпоха была до краев налита катастрофой и гибелью, когда слово «завтра» не существовало, у меня не было сил испить из этой чаши драгоценного молока. Тогда я занялся самоусовершенствованием, я долго шлифовал свое естество, я добился желанного права – и что же? Молоко оказалось выпито, меня ждала пустая остывшая чаша, а сам я... Я перевалил уже за сорокалетний рубеж. И хуже всего то, что никакая влага на свете не способна утолить моей жажды. Кроме того молока, которое досталось другим.

Оказывается, я ошибался. Не все восстановимо, не все можно воссоздать. Например, время – оно не возвращается. Но моя принципиальная позиция, вся моя жизнь в послевоенные годы тем не менее сводилась к одному: любыми правдами и неправдами я воевал с главной характеристикой времени – необратимостью. Если время действительно необратимо, разве возможно было бы вести такой образ жизни, спросил я себя. Резонный вопрос, ничего не скажешь.

Я отказался признавать условия своего существования, я приказал себе разработать ритуал совсем иной жизни. Раньше правила игры диктовало Слово, оно было гарантом моего бытия. Поэтому изменение жизненного ритуала требовало от меня, чтобы я вырвался за пределы густой тени, отбрасываемой Словом; из человека, творящего слова, мне предстояло стать человеком, творимым словами. Моя задача по сути дела сводилась вот к чему: я должен был изобрести хитроумную процедуру, которая позволила бы фиксировать тень каждого мига

жизни. Неудивительно, что испытать всю сладость экзистенции мне удалось в одно избранное мгновение, пришедшееся на краткие минуты одиночества, что выпали на мою долю в период армейской стажировки (тоже весьма непродолжительной). Источник моего тогдашнего блаженства в том, что я сумел, пусть ненадолго, ощутить себя самого тенью давних, полуразложившихся от времени слов. Но сами они в этом моем успехе никакой роли не играли. Я отказался от их помощи и достиг новых вершин бытия благодаря иному гаранту – мускулам.

Ощущение полноты бытия и вызванный им приступ жгучего счастья, конечно же, длились не долго. Но мои мускулы остались при мне. К несчастью, для того, чтобы убедиться в прочности собственных мышц, одного чувства полноты бытия мало – приходится полагаться на зрение, а понятие «смотреть» изначально противоположно понятию «существовать».

Я начал замечать, что меня мучает трудноуловимое противоречие между самоощущением и реальным существованием.

Я имею в виду следующее. Если попытаться объединить понятия «видеть» и «существовать», то разумнее всего будет придать своим ощущениям как можно большую центростремительность. Когда человек обращает взор внутрь самого себя, полагаясь лишь на собственное сознание, когда он заставляет себя забыть о внешних формах бытия, ему удастся имитировать реальность столь же успешно, как герою «Интимного дневника» Амьеля. Но реальность эта обладает довольно странными свойствами, она похожа на прозрачное яблоко, в котором видны все семена. Полагаться опять-таки приходится только на слова. Типичный образчик одинокого, «слишком человеческого» литератора.

Но ведь вокруг нас есть формы самосознания, напрямую связанные с реальностью. Для них антиномия созерцания и существования носит решающий характер. Вопрос стоит так: как может сердцевина яблока, скрытая за мякотью и непроницаемой красной кожицей, стать доступна глазу? Или так: как может зрение пронзить ткань плода и увидеть его нутро? При чем речь в данном случае может идти лишь о нормальном, здоровом яблоке, свежем и румяном.

Разовью эту метафору дальше. Предположим, что существует некое совершенно здоровое яблоко. Оно появилось не под воздействием Слова, и сердцевины его, как у диковинного плода Амьеля, снаружи не видно. Внутреннее устройство яблока скрыто от взоров. И вот в белесой темноте, в плену сочной мякоти томится сердцевина, с неистовым трепетом желающая удостовериться, что ее яблоко – само совершенство. Итак, плод несомненно существует – это факт. Однако сердцевине этого недостаточно, ей нужен свидетель – если не Слово, то тогда зрение. Для семян единственный достоверный способ бытия – одновременно существовать и видеть. Решить это противоречие возможно только так: взять нож и разрезать яблоко пополам, чтобы сердцевина оказалась на свету, сравнившись в этом с румяной кожицей. Но сможет ли после этого плод существовать дальше – вот в чем вопрос. Жизнь яблока оборвана; сердцевина принесла существование в жертву ради того, чтобы увидеть.

Когда я понял, что возникшее и тут же рассыпавшееся чувство полноты бытия сотворено не словами, а мускулами, я разделил судьбу яблока. Да, мои глаза могли видеть мускулатуру в зеркале. Но этого было недостаточно, чтобы коснуться самого корня бытия; от зеркала до состояния блаженной наполненности оставалась дистанция неведомой протяженности. Нужно было немедленно преодолеть это расстояние, иначе мне не удалось бы вновь достичь подобного счастья. Мое самоощущение, которое я доверил мышцам, не довольствовалось белесой тьмой мякоти, окружавшей сердцевину моего яблока, как доказательством существования; мое «я» отчаянно требовало более весомого подтверждения своего бытия и не остановилось бы даже перед тем, чтобы перестать существовать, – лишь бы такое подтверждение получить. О, эта иссушающая жажда не внимать словам, а просто видеть!

Глаза самоощущения, привыкшие устремлять взгляд в непросматриваемые глубины внутреннего «я», полагаются при этом на посредничество Слова и не склонны доверять предметам зримым, в том числе и мускулам.

«Да, похоже, что вы не выдуманные, а настоящие, – говорят глаза. – Но тогда покажите мне, как вы функционируете. Как вы живете, двигаетесь, работаете, как вы выполняете поставленные перед вами задачи».

В ответ мускулы начинают двигаться, но для подтверждения их работы обязательно нужен некий гипотетический противник, объект приложения усилий. Мы безоговорочно поверим в реальность такого противника, только если он нанесет по нашему восприятию мощный удар, который заставит замолчать недоверчивое самоощущение. Необходимо, чтобы нож врага взрезал плоть яблока, то есть мою плоть. Тогда прольется кровь, жизни придет конец, и в миг разрушения факт бытия впервые станет полностью доказан, пропасть между существованием и созерцанием сомкнется. Это и будет смерть.

Так однажды летним вечером, во время армейского обучения, я открыл, что счастливую полноту бытия способна обеспечить только смерть...

Это не было неожиданностью, ведь я к тому времени уже знал: главными условиями такого изготавливаемого на заказ счастья являются абсолютность и трагичность. С тех пор как я велел себе искать жизнь вне Слова, я ступил на путь смерти. В какие разрушительные одежды ни рядилось бы Слово, оно принадлежит жизни, связь его с инстинктом самосохранения тесна и нерушима. Сколько мне помнится, искусно владеть словами я начал тогда, когда впервые по-настоящему захотел жить. Это Слово добывается от меня, чтобы я как можно дольше растягивал свое существование, вплоть до естественной кончины. Слово – медленно действующая, но роковая бактерия болезни постепенного умирания.

Я уже писал, что мои чувства во многом были схожи с мечтами самурая, что шлифование силы воображения, обращенной к опасности и гибели, напоминает затачивание клинка. Тело давало мне возможность опробовать на деле самые разные метафоры духовного мира. Все получалось именно так, как я рассчитывал.

На меня угнетающе действовала мысль о том, сколько труда тратят впустую солдаты, когда нет войны. Что уж говорить о незаконнорожденной японской армии, несчастная судьба которой заставляет ее держаться как можно дальше от собственных традиций и славы.

Армия в мирное время похожа на гигантскую электробатарею, которая до отказа насыщается энергией, а потом бездействует до тех пор, пока окончательно не разрядится вследствие банальной утечки тока. Потом батарею заряжают снова, и история повторяется – никакого практического применения этот агрегат не имеет. Все подчинено гигантскому мифу о «грядущей войне». Разрабатываются сложнейшие системы боевой подготовки, солдаты не жалеют сил, но все эти труды уходят в вакуум. День ото дня вянут накачанные мускулы; кто-то стареет, и его убирают, чтобы заменить на молодого, – и все зря.

Сейчас я понимаю мощь Слова лучше, чем когда бы то ни было. Оно имеет дело с пустотой вечно прогрессирующей сиюминутности. Именно пустота – холст, на котором Слово пишет свои картины в ожидании абсолюта. Сколько продлится пустота сиюминутности – неизвестно; когда придет абсолют – тоже неведомо. Слова впитываются в холст времени несмываемыми узорами, как краски на знаменитой ткани «юдзэн», когда полотно промывают в чистой речной воде. Слова запечатлевают каждый отдельный миг пустоты, умирая и вместе с тем обретая бессмертие. Ведь когда замер последний звук, когда дописана последняя буква, Слова уже нет, оно умерло. Но аккумуляция этих маленьких смертей, беспрестанная фрагментация непрерывности жизни делает Слово могущественным. Благодаря ему нам не так страшно сидеть и смотреть на пугающе белые стены в приемной доктора Абсолюта. Пятная миги пустоты, Слово режет непрерывность жизни ломтиками и тем самым придает пустоте видимость некоей субстанции.

Еще у Слова есть способность, возможно иллюзорная, – приближать конец. Приговоренные к казни часто пишут длиннейшие предсмертные записки, чтобы при помощи магии Слова состругать невыносимые моменты ожидания.

В преддверии встречи с абсолютным каждый из нас – наедине с пустотой сиюминутности; мы вольны выбирать лишь манеру поведения. Ведь так или иначе, но готовиться к встрече нужно. Эта подготовка у многих ассоциируется с самоусовершенствованием, потому что в большинстве человеческих существ живет патетическая потребность максимально «соответствовать» образу абсолюта. Наверное, это самое естественное и чистое из всех людских желаний – подготовить свой дух и тело к торжественности финала.

Но мечте не суждено осуществиться, ее ждет полный крах. Сколь самоотверженно ни закалял бы человек свое тело, оно неминуемо движется к увяданию. Сколь ни мудрил бы человек со Словом, духу не дано постичь понятие Конца. Слова` приучили дух к мини-финалам, он утратил ощущение непрерывности бытия и не в состоянии отличить истинный Конец от ложных.

Главный виновник этого фиаско – время. Но иногда, крайне редко, именно время неожиданно проявляет снисхождение и приходит на помощь. Вот в чем мистический смысл ранней смерти, которую греки почитали особой милостью, достигающей только любимцам богов.

Но я уже утратил особое утреннее лицо молодости. В какие бы бездонные глубины усталости ни погружалось оно накануне, новый день такое лицо встречает на поверхности волн, полным свежести и силы. Большинство людей, к сожалению, до преклонных лет сохраняют привычку подставлять свое истинное лицо ярким утренним лучам. Привычка остается, да лицо-то уже не то. Человек не понимает, что оно обрюзгло от тягостных сомнений и пережитых страстей; не видит, что вчерашняя усталость прикована к нему железными цепями; не сознает, до какой степени непристойно подставлять такое лицо солнцу. Вот так и теряют мужественность.

Поэтому лицо человека мужественного, воина, должно быть маской. Когда оно утрачивает естественное сияние молодости, необходимо прибегнуть к помощи своеобразного политического грима. Меня научили этому в армии. Утреннее лицо командира предназначено для подчиненных, чтобы по нему они могли сразу же прочесть боевую задачу на день. Это лицо прячет свои тревоги, беды, отчаяние; оно всегда должно внушать солдатам уверенность и оптимизм. Командир притворяется, натягивает маску мужества, помогающую отринуть личные горести и стереть следы увиденного ночью кошмарного сна. Только таким обликом должен приветствовать поживший на свете мужчина солнце нового дня.

Меня бросает в дрожь от лиц интеллектуалов, миновавших пору молодости. До чего же они уродливы! Как не хватает им политического грима!

Я начинал свою литературную жизнь, стремясь не выказывать свою сущность, а, наоборот, получше ее замаскировать. Вот почему у меня такой восторг вызывает армейский мундир. Лучший камуфляж для Слова – плоть; лучшее прикрытие для плоти – военная форма. Она сконструирована таким образом, чтобы подчеркивать любое уродство – будь то чрезмерная худоба или толстое брюхо. Личность, стиснутая в пределы мундира, делается на удивление простой и ясной. Мужчина в военной форме для окружающих становится бойцом, и не более того. И уже никому нет дела, что делается у этого человека в душе, кто он – мечтатель или нигилист, скупец или расточитель. Возможно, он одолевает низменным честолюбием или страдает чудовищным духовным изъязвлением – людям все равно, для них он – просто воин. На нем особая одежда, которую в один прекрасный день может пронзить пуля и окрасить кровь. Мундир идеально подходит к важнейшей характеристике тела, для которого заявить о себе означает стать на путь саморазрушения.

...Но я – человек невоенный. Профессия солдата требует серьезной технической подготовки; для того чтобы не утратить с таким трудом обретенные навыки, солдат, подобно пианисту, должен каждый день совершенствовать свое виртуозное мастерство – это я понял очень хорошо.

Наибольшую привлекательность военной службе придает то обстоятельство, что любое, даже самое тривиальное дело осенено в армии ослепительным сиянием славы, неуловимо, но прочно соединено со смертью. Труд литератора совсем не таков. Писатель вынужден постоянно драить свою славу, чтобы отчистить ее от надоевшего мелкого сора, накапливающегося в его душе.

Нам дано услышать два голоса. Один вызывает к нам изнутри, другой – извне. Внешний голос еще называют «долгом». Беспредельно счастлив тот, у кого оба эти зова звучат в унисон.

Помню необычно холодный и дождливый майский день. Из-за ненастной погоды отменили учебные стрельбы на батарее безоткатных орудий, и я сидел в казарме один. На равнине у подножия Фудзи дул совсем зимний ветер. В такие дни в большом городе уже после обеда в офисах горит свет, а домохозяйки вяжут перед телевизором, жалея, что поторопились отключить отопление. Никакая сила не заставила бы этих людей без крайней необходимости вылезать под дождь, да еще без зонта.

Неожиданно я услышал шум мотора – за мной приехал на джипе унтер-офицер. Оказалось, что, невзирая на погоду, стрельбы все-таки состоятся.

Мы помчались по разбитой дороге, подсакивая на ухабах. Вокруг не было ни души. Джип взлетел на крутой холм, по которому нам навстречу неслись потоки дождевой воды, и покотил по откосу вниз. Видимость была отвратительная, ветер неистовствовал, высокие травы стелились по земле. Под брезентовый тент залетали дождевые капли, безжалостно хлеща меня по лицу.

Я был рад, что за мной прислали. Меня позвал тот самый голос извне, голос долга. Давно уже не испытывал я такого острого, звериного возбуждения, как в тот день, когда голос долга вызвал меня на холодную, заливаемую дождем равнину, и я ответил на клич, поспешив покинуть теплое убежище.

Какая-то неведомая сила оторвала меня от горячей печки и погнала на холод. Всякий раз, когда возникает подобная ситуация, я без сомнений и колебаний откликаюсь на зов посланца, являющегося словно с другого конца земли. Обычно принесенная им весть связана со смертью, наслаждением или чем-то внерассудочным. Я иду за посланцем с радостью, оставляя позади комфорт и покой повседневной жизни.

Я слышал этот зов и раньше, давным-давно. Но в те времена мой внутренний голос звучал диссонансом внешнему. Моя плоть была не приспособлена для восприятия клича, что доносился извне; приходилось полагаться на услуги Слова. Обращенный ко мне призыв трепетал, запутавшись в сетях сложных идей, – я хорошо помню возникавшее при этом болезненно-слабое ощущение. Но я понятия не имел, какая глубинная радость рождается в душе, когда оба голоса встречаются на рубеже плоти и сливаются воедино...

А потом я слышал грохот, вой и увидел, как сквозь пелену дождя в сторону невидимых мишеней одна за другой тянутся ярко-оранжевые нити трассирующих снарядов. Целый час я сидел по уши в жидкой грязи, под проливным дождем, и наблюдал за стрельбами.

Или еще одно воспоминание.

Раннее декабрьское утро. Я бегу совершенно один по дорожке Национального стадиона. Вряд ли это занятие можно было причислить к категории «долга» – я, так сказать, предавался излишеству, но никогда еще не чувствовал себя так роскошно. Рассвет того дня принадлежал исключительно мне одному.

Итак, час восхода. Температура – ноль градусов. Стадион похож на чашу гигантской лилии, безлюдные трибуны – как огромные раскрытые лепестки, белые в черную крапинку. На мне только тренировочные штаны и рубашка, ветер пронизывает до костей; руки онемели. Когда я бегу под восточной трибуной, где еще царят сумерки, от холода захватывает дух; на

западной стороне, уже освещенной первыми лучами солнца, дышится немного полегче. Я уже пробежал четыре четырехсотметровых круга, бегу пятый.

Солнце едва выглядывает из-за края белесых лепестков стадиона, небо еще окрашено в неуверенно-лиловые тона сумерек. Ночной ветер не торопится покидать затененную часть арены.

Я бегу, вдыхаю ледяной воздух, а заодно наслаждаюсь ароматами рассвета. Над стадионом витают самые разнообразные запахи: вот восторженное возбуждение разгоряченных зрителей; вот дезодорант, которым пользуются спортсмены; вот трепет ярко-красных, лихорадочно бьющихся сердец; терпкий аромат непреклонной решимости. Именно так благоухает ранним утром исполинская лилия спортивной арены, а кирпичная крошка беговой дорожки – как цветочная пыльца.

И тут мной всецело завладела одна идея: как скорбная лилия рассвета связана с чистотой плоти?

Сложнейшая метафизическая проблема настолько увлекла меня, что я начисто забыл о напряжении бега. Это был глубоко личный вопрос, возвращавший меня в отроческие годы, когда я любил лицемерно порассуждать о духе и плотской чистоте. Вновь возникла главная тема моего далекого детства – мученичество святого Себастьяна...

Я прошу читателя обратить внимание на то, что я ничего не пишу о своей повседневной жизни, – лишь о мгновениях мистического постижения, которые мне довелось пережить.

Бег тоже был актом мистическим. Он возлагал на сердце тяжелейшую нагрузку, которая чем дальше, тем больше вытесняла из моей жизни будничную рутину. Моя кровь уже не могла обходиться без этого бремени ни единого дня, я постоянно чувствовал, как меня погоняет невидимый кнут. Телу стало противопоказано состояние покоя, мышцы не давали мне расслабиться, требовали активного действия. Нормальный человек назвал бы мой образ жизни полнейшим безумием. Из спортзала я мчался на стадион, со стадиона – в спортзал. Наградой – наивысшей из всех наград – было чувство мини-воскрешения, посещавшее меня сразу после тренировки. Я уже не мог жить без таинства вечного движения, постоянного напряжения, непрерывного бегства от холодной объективности. Само собой разумеется, что в каждой из этих тайн мерцал огонек смерти.

Я и сам не заметил, как очутился под гнетом. Мне в затылок дышал возраст, шепча: «Сколько еще ты сможешь выдерживать такое?» Но порок физического здоровья овладел мною безраздельно; я уже не мог возвращаться в мир Слова без инъекции своих мини-воскрешений.

Это, конечно, не означает, что, возродив дух и тело, я обращался к миру Слова нехотя, лишь по зову долга. Наоборот, этот ритуал гарантировал, что мое возвращение будет радостным.

Мои требования к Слову все более ужесточались. Я старательно избегал всего, что связано с так называемым «новейшим стилем». Наверное, в глубине души я мечтал воссоздать чистую твердыню Слова, существовавшую в годы войны. Я хотел построить заново, по одному мне ведомым законам, крепость литературы, обитель свободы весьма парадоксального свойства: за ее стенами властвует принуждение, внутри же я совершенно волен в своих поступках.

И еще я стремился вновь испытать бездумное опьянение Словом – как в ту давнюю эпоху, когда я еще верил в его чистоту. То есть я пытался воскресить себя прежнего, истощенного муравьями Слова, но теперь уже укрепленного стальными мускулами. Если бы только удалось воскресить времена, когда слова казались (хоть на самом деле, конечно, не были) оплотом счастья и свободы! Так ребенок терпеливо склеивает ломаную-переломаную игральную доску, за которой провел столько увлекательных часов. Возвращение в мир безгрешной поэзии, в Золотой Век – вот что означала для меня эта мечта.

Можно ли было меня семнадцатилетнего назвать невежественным? Ничего подобного. Я знал тогда все. За последующие четверть века к моему знанию не прибавилось ровным счетом ничего. Разница только в том, что в семнадцать лет я был не в ладах с реальностью.

С каким облегчением окунулся бы я вновь в то ощущение всезнания, оно освежило бы меня, как купание в жаркий день. Я исследовал страну своей юности весьма скрупулезно и теперь вижу, что Слово оборвало во мне совсем немного нитей и что радиация всезнания загрязнила довольно небольшой участок моей души. Я хотел использовать слова как зарубки на память, возвести из них мемориал, но применил неверную методику. Я не прибегал к помощи знания, отказывался от него, я выплескивал в слова свой бунт против эпохи; Слово служило мне для описания плоти (которой я тогда еще не обладал); как серебряные трубочки с посланием, привязанные к ноге почтового голубя, мои слова отправлялись в полет – навстречу будущему, навстречу смерти. Вы скажете, что тем самым я продлевал Слову жизнь, и будете правы, но то было поистине пьянящее занятие.

Выше я писал, что главная функция Слова заключена в мистическом ритуале записывания (то есть обрывания) мгновений, из которых состоит бесцветная дистанция, отделяющая нас от смерти. Так кропотливый труд вышивальщицы покрывает мелким узором ткань длинного белого пояса. И еще я писал, что дух, привыкая к подобным мини-финалам, перестает воспринимать непрерывность бытия и уже не может отличить истинный конец от поддельного – дух вообще перестает понимать, что такое Конец.

Что же значит Слово для духа, когда смерть придвигается вплотную и не видеть ее уже невозможно?

Ответ можно прочесть в прощальных письмах летчиков-камикадзе. Эти «экспонаты» выставлены на всеобщее обозрение в музее Этадзима.

Как-то на исходе лета я побывал там. Сильней всего меня поразили контраст между тем, как эти письма были написаны: одни (большая часть) – красивым, торжественным почерком, другие – кое-как, карандашом, явно наспех. Прогуливаясь вдоль стеклянных витрин и читая предсмертные послания юных героев, я внезапно нашел ответ на давно занимавший меня вопрос: что такое Слово для человека, находящегося на пороге гибели, – средство сказать правду или пьедестал для монумента?

Я очень хорошо помню полудетский почерк одной из записок, небрежно накаряканной карандашом на клочке рисовой бумаги. По-моему, текст запечатлелся в моей памяти дословно, в особенности же поразило меня то, как внезапно он обрывался:

Сейчас я здоров, полон молодости и сил. Трудно поверить, что через каких-то три часа меня уже не будет. Но все-таки...

Когда с помощью слов пытаются сказать правду, всегда спотыкаются. Я так и вижу этого парня, ищущего и не могущего найти слова. Он не испытывает ни смущения, ни страха, но такова уж особенность неприкрытой истины – она приводит Слово в замешательство. Ожидание встречи с абсолютным, бесцветное расстояние, отделявшее летчика от смерти, осталось позади; времени отсчитывать мгновения, играя словами, уже не было. Юноша бросился навстречу гибели, но тяга жить, подобно хлороформу, затуманила его волю, заставила дух, уже смилившийся со смертью, на миг замереть. Тут же на широкую грудь летчика, подобно ласковой кошке, проворно вспрыгнули привычные, повседневные слова – и были грубо отброшены решительной рукой.

Авторы прочих писем, тоже немногословных и немудрящих, предпочли благородные, мужественные формулировки: они писали о патриотизме, о ненависти к врагу, о том, что жизнь и смерть – одно и то же. В этих строках чувствуется желание отринуть все личные переживания, слиться с избранным героическим лозунгом.

Конечно, эти хлесткие фразы тоже состоят из слов. Но то особые, прекрасные слова, вознесенные на высоту, которая недоступна повседневности. Да, когда-то у нас были такие слова, но потом мы их утратили.

Их употребляли не для красоты; они были необходимы для того, чтобы человек совершил сверхчеловеческие деяния, ценой собственной жизни взмыл к заоблачным высям духа. Рожденные усилием воли, эти слова требовали отказа от своего «я»; они с самого начала не имели ни малейшей связи с обыденной психологией. Несмотря на расплывчатость заключенного в них смысла, слова-лозунги источали поистине неземное сияние; безличные и величественные, они начисто исключали индивидуальность – подвиг каждого становился камнем в основании коллективного монумента. Если героизм – понятие физическое, то он предполагает отказ от личностного, следование некоему классическому образцу, подобно тому как Александр Македонский слепил себя по подобию Ахилла. Поэтому слова героя, в отличие от слов гения, должны быть благородны, но тривиальны, то есть избраны из числа уже существующих формул. Только тогда они будут истинным голосом тела.

Вот так я обнаружил в музейных витринах два типа мужественных слов, которыми встречает смерть дух, уверившийся в близком конце.

Если взять мои ранние произведения, в них совершенно отсутствовал элемент близости к смерти, несомненности скорой гибели; они были отравлены трусостью, осквернены искусством. Я использовал слова куда менее красиво, чем летчик-камикадзе. Зато мой дух властвовал над Словом вполне свободно, даже разнузданно. Однако, несмотря на все своеволие юного автора, в его творениях неуловимо присутствовало признание факта конца. Когда я перечитываю те страницы, мне это абсолютно ясно.

Сейчас я часто задумываюсь вот над чем. Я убежден, что мой случай не является таким уж исключительным, наверняка были и другие люди, для кого первыми в жизни появились прожорливые муравьи слов, а тело возникло позднее, уже истощенное и изъеденное. Я знаю, что сам себе противоречу: отрицая свою уникальность, пытаюсь настаивать на неповторимости моего жизненного опыта, – казалось бы, путь, который проделало мое тело, должен был бы указать мне на это заблуждение. В годы войны моя плоть предчувствовала финал, а дух осознавал его приближение. В этом я был схож с летчиками-смертниками. Мне следовало идентифицировать себя (пускай бы только духовно!) с теми парнями, кто погиб на войне, – ведь среди них несомненно тоже были те, кто познал на себе работу муравьиных челюстей. Я уверяю себя, что такие наверняка были и в эскадрильях камикадзе. Но они погибли и тем самым окончательно определили свою принадлежность, они навек соединены надежными и счастливыми узами трагедии.

В семнадцать лет я уже знал все, так что должен был понимать и это. Но затем я постарался удалиться от всезнания как можно дальше. Я вознамерился построить памятник самому себе – не используя строительных материалов, которые могла предоставить мне эпоха. Упрямство я принимал за чистоту помыслов; законов зодчества не знал. Разве можно создать монумент из неповторимо личного? Сейчас я отлично понимаю, в чем состояла главная ошибка: я слишком презирал жизнь, конец которой могут положить слова.

Для юной души «презрение» и «страх» – синонимы. Кажется, я очень боялся тогда, что Слово действительно подведет подо всем черту. Мне хотелось уйти от обреченной реальности очень далеко и там создать слова, которые будут жить вечно. Эта бесплодная затея пьянила меня сильнее вина. Что ж, в ней, пожалуй, было и обещание счастья, и даже надежда. Но тут закончилась война. Дух перестал различать впереди финишную ленточку, и опьянение прошло.

Теперь, много лет спустя, мне захотелось вернуться в те времена. Что бы это значило? К чему я стремлюсь – к свободе? К невозможному? Или два эти понятия идентичны?

Очевидно лишь одно: мне необходимо вновь испытать хмельной дурман, но на сей раз я выберу себе слова, лишённые неповторимости. Тогда они окажутся пригодными для памятника, а мастерством зодчего, который знает, как поставить в жизни точку, я, слава богу, уже обладаю. Пожалуй, это единственный способ, которым я могу отомстить духу, упорно отказывающемуся видеть впереди свой финал. Я решил не уподобляться большинству людей, которые следуют за своим телом лишь до тех пор, пока оно не начнет стареть и вянуть, а затем покорно тащатся за духом – он слеп, он упрямее тела и потому заводит своих последователей в непролазные дебри.

Я должен заставить свое сознание воспринять идею конца. Тут корень всему. Совершенно ясно, что отсюда начинается путь к настоящей свободе. Мне предстоит снова окунуться в освежающее море всезнания, от которого я отшатнулся в юности, ибо использовал Слово неверно. На сей раз я найду определение всему, даже воде, в которую мне суждено погрузиться.

Я отлично понимаю, что невозможно просто вернуться туда, где уже побывал. Но невыполнимость задачи подстегнет мое скупающее сознание; мой разум, способный увлечься только недостижимой целью, начал мечтать о свободе.

Полная парадоксов жизнь тела предоставила мне возможность с истощающей ясностью оценить ту свободу, которую дают Слово и литература. Смерть от меня не ускользнула, нет. Трагедию – вот что я упустил...

Точнее говоря, я упустил коллективную трагедию или, во всяком случае, трагедию члена сообщества. Если бы я отождествлял себя с некой группой, участие в трагедии далось бы мне гораздо легче, но Слово сделало все, чтобы отдалить меня от других людей. В юности я был слишком слаб, чтобы раствориться в жизни коллектива, и поэтому постоянно ощущал себя изгоем. Мне хотелось во что бы то ни стало взять реванш, и я занялся искусством Слова, а оно, естественно, отвергало само понятие «коллектив». Впрочем, возможно, последовательность была иная: дождь слов окропил мою душу в ее предрассветный час, когда сознание еще обреталось в сумерках, и это стало предвестием моего будущего изгояства. Я строил сам себя, сгибаясь под тем безжалостным дождем. Это было первое, что я сделал в жизни.

Еще в детстве я интуитивно догадался, что в основе понятия «коллектив» заложен принцип тела. Я убежден в этом и поныне. Лишь в последние годы я понял, что такое общность, – когда открыл для себя «восход плоти» (так я называю красноватые сполохи, вспыхивающие у меня в глазах после особенно тяжелых, почти невыносимых физических нагрузок).

Общность тесно связана с выделениями, не секретируемыми Словом: слезами, потом, стонами. А если пойти еще дальше, то можно сказать, что в основе ее – кровь, истекать которой Слову не дано. На нас производят сильное впечатление предсмертные записки, написанные не чернилами, а кровью, но это оттого, что их текст обычно подобен клише, лишен всякой индивидуальности, а значит, написан языком тела.

Когда я открыл, что физические нагрузки, усталость, пот, слезы и кровь с не меньшим успехом, чем участие в храмовом шествии с переносным алтарем, способны открыть моему взору истинную синеву неба, окунуть меня в источник, где я почувствую себя «таким же, как все», – уже тогда мне стало ясно, что рано или поздно придет день, и я вырвусь из капкана индивидуализма, куда загнали меня слова; я постигну подлинный смысл человеческой общности.

У коллективизма, конечно же, есть собственный язык, но его не назовешь самодостаточным. Речь на митинге не произносится без оратора, лозунг не выкрикивается без агитатора, спектакль не играется без актера – то есть текст подобного рода не может функционировать без живой плоти. Его можно произносить или записывать на бумаге, но он все равно составляется на языке тела. Это наречие не приспособлено для того, чтобы передавать послание из одной уединенной кельи в другую. Коллектив – метафора разделенного страдания, не нуждающе-

гося в посредничестве слов. Мне кажется, что совместность испытаний – непримиримый враг вербального самовыражения. Даже величайший из писателей, разворачивающий свою мировую скорбь наподобие циркового шатра, сквозь который проглядывает звездное небо, не способен создать пространство общего страдания. Слово умеет передавать веселость и грусть, но только не муку, ибо развеселиться или опечалиться можно от абстрактной идеи, а равноценная боль доступна только тому, чья плоть переносит точно такое же испытание.

Человеку дано достичь высшего уровня телесного бытия, недоступного одиночке, только если он вольется в группу и разделит с ней страдание. Нужно растворить свое «я», чтобы достичь вершины, с которой подчас просматривается небо богов. Для этого общность, членом которой ты стал, должна обладать трагичностью, заставляющей подняться из болота благодушия, распушенности, лени к высотам совместной боли, а затем и к абсолютному ее пику – смерти. Открытость смерти – непереносимое условие. Я полагаю, вы уже поняли, что я говорю о коллективе воинов.

Ранним весенним утром я бежал, полуобнаженный и дрожащий от холода, вместе со своими товарищами. Голова моя была стянута белой повязкой с красным кругом солнца на лбу. Я нес тяжесть испытания наравне со всеми, я выкрикивал в такт хору голосов, бежал в ногу и при этом чувствовал, как вместе с соленым потом в кожу впитывается привкус трагедии, неоспоримое доказательство слиянности. То был огонь тела, благородный пламень, раздуваемый жгучим утренним ветром. Мои мышцы радостно звенели от ощущения сопричастности. Все мы, бегущие, равно жаждали славы и смерти. Я был не одинок.

Биение моего сердца передавалось соседям, наша кровь пульсировала единым ритмом. Индивидуальность осталась где-то далеко, в большом городе с его химерами и миражами. Я принадлежал своим товарищам, а они принадлежали мне; вместе я и они являли собой незбываемое Мы. Есть ли более страстная ипостась бытия, чем чувство принадлежности кому-то или чему-то? В монолитности нашего маленького круга проявлялось единство великого, сияющего круга мироздания. Я понимал, что эта имитация трагедии будет недолговечна, как и мое короткое счастье, что она вот-вот рассеется, превратится в обычную работу мускул, но это было не важно. Будь я один, мне пришлось бы вернуться к дихотомии слов и мышц, но сила общности тянула меня за собой вдаль, туда, откуда возврата нет. Впервые я доверялся другим людям. Они принадлежали к сообществу, обозначенному словом «Мы»; каждый из нас слился с этой неиссякаемой, бесконечно мощной субстанцией.

Коллектив, группа для меня – как мост с односторонним движением; по нему можно перейти на другой берег, но обратно уже не вернешься.

Эпилог. F-104

Я научился видеть гигантскую змею, свернувшуюся кольцами вокруг земного шара. Она проглотила свой собственный хвост и тем самым уничтожила полюсы. Исполинская рептилия смеется над всеми противоположностями. Да, постепенно я стал различать ее контуры.

Противоположности, доведенные до предела, начинают напоминать друг друга; максимально отдаленные предметы, продолжая двигаться в разные стороны, незаметно переходят к сближению. Этому научили меня магические кольца змеи. Тело и дух, чувственное и интеллектуальное, внешнее и внутреннее тоже должны были сойтись в некоей точке – где-нибудь над земной поверхностью, чуть выше белой змеи облаков, опутавшей планету.

Меня всегда интересовали лишь края, пограничные зоны тела и духа; заглядывать в глубины я не любитель – пусть этим занимаются другие. Глубины слишком вульгарны, слишком *мелки*.

Что находится на самой кромке края? Скорее всего, ничего – лишь нарядная бахрома, свешивающаяся в пустоту.

На земле человека прессует сила гравитации: он таскает на себе тяжелую шубу из плоти, обливается потом, натужно бежит, наносит неповоротливые удары, с трудом и невысоко подпрыгивает. Но иногда, сквозь черную пелену усталости, мне доводилось видеть радужные вспышки цвета, которые я прозвал «восходом плоти».

На земле человек иссушает свой разум изысканиями, словно пытаясь улететь в бесконечность; он неподвижно сидит за столом и подбирается все ближе, ближе, ближе к обрыву духа, рискуя сорваться в бездну пустоты. Временами (хоть и очень редко) духу тоже удается разглядеть во мгле зарницы собственного восхода.

Но два эти вида прозрения не гармонируют друг с другом. В них нет ничего схожего.

Ни разу, предаваясь физическому действию, не испытал я пугающе холодного удовлетворения, которое приносят интеллектуальные искания. Ни разу, увлеченный работой разума, не ощутил я жаркого дыхания, самозабвенной черноты телесного бытия.

И все же точка соприкосновения наверняка существовала. Вот только где?

Обязательно есть зона, где движение, достигнув апогея, становится неподвижностью, а статичность превращается в движение.

Стоит мне начать бешено размахивать руками, и я тут же потеряю частицу своей интеллектуальной крови. Стоит мне хоть на миг задуматься перед нанесением удара, и он не поразит цели.

Я был уверен, что где-то обретается принцип более высокого порядка, примиряющий эти полюса и сводящий их воедино.

Имя ему – смерть, в этом я не сомневался.

Но я привык воспринимать смерть слишком мистически. Я забыл о самой простой, физической ее стороне.

А ведь Земля плотно окутана смертью. Высшие слои атмосферы, где уже нет воздуха, взирают сверху на нас, ползающих по поверхности и привязанных к ней физиологическими условиями нашего собственного бытия. Там, наверху, властвует чистая, беспримесная смерть, но человека она поражает крайне редко, ибо та же физиология не пускает его подняться ей навстречу. Если бы мы могли взлететь туда без защитных приспособлений, то моментально бы погибли. Для того чтобы выжить, войдя в соприкосновение с космосом, человеку нужна особая личина – кислородная маска.

Дух и разум привыкли парить в этих безвоздушных высях, но взять с собой тело мы не можем – оно там не выдержит. Полеты одного духа совершенно безопасны, им не дано заглянуть в лик смерти. И всякий раз дух, разочарованный и неудовлетворенный, вынужден возвращаться в свое телесное жилище. Странствия души не способны привести к заветному единству. Духу и плоти необходимо отправляться в полет вместе – иного пути нет.

Когда я пришел к этому выводу, я еще не знал о существовании змеи.

Зато мой разум был отлично знаком с небесными вершинами. Мой дух взлетал выше любой птицы, не страшаясь кислородного голодания. Он вообще не испытывал потребности в кислороде. Ох уж этот дух! Как смеялся он над жалким кузнечиком тела, способным только на низенькие скачки и никогда – на взлет! Помню, как забавляло меня это жалкое копошение в траве.

Но кое-чему, оказывается, можно научиться и у кузнечика. Со временем я стал жалеть, что не беру тело в свои полеты, оставляя его на земле, в тяжелой клетке мышц.

И вот однажды я захватил тело с собой; мы оказались в барокамере для предполетных испытаний. Пятнадцать минут я проходил денитрификацию, то есть вдыхал стопроцентный кислород. Тело с изумлением обнаружило, что помещено в ту же среду, куда каждую ночь

погружается дух: неподвижность, прикованность к креслу, необходимость решать непосильную задачу.

Для духа испытание было несложным – ведь он привык к головокружительным высотам, но тело оказалось в подобных условиях впервые. Я вдыхал кислород: маска то прильнет к ноздрям, то отпрянет. Дух тем временем вел разговор с плотью.

«Послушай, – говорил он, – сегодня ты вместе со мной. Не двинувшись с места, ты вознесешься к наивысшим из доступных мне пределов».

«Ничего подобного, – надменно отвечала плоть. – Раз я отправляюсь в путь с тобой, значит, как высоко бы мы ни взлетели, ты все равно останешься в моих границах. Ты не можешь этого понять, потому что все твои предыдущие полеты происходили над письменным столом».

Но я не придавал значения этой перебранке. Так или иначе, мои тело и дух отправились в путь вместе, при этом не сдвинувшись с места.

Воздух всасывался небольшим отверстием в потолке. Я почувствовал, как понижается давление.

Неподвижная барокамера имитировала ощущения набора высоты. Десять тысяч футов, двадцать тысяч футов. Вроде бы ничего вокруг не изменилось, но камера с неистовой силой рвала пути земного притяжения. Кислорода в помещении почти не осталось, очертания обыденных предметов стали таять. На тридцати тысячах футов меня накрыла тень чего-то невидимого, я стал разевать рот, как вытасненная из воды рыба. Однако цвет ногтей был в порядке: посинения, верного признака кислородного голодания, пока не наблюдалось.

Не испортилась ли маска, забеспокоился я и покосился на шкалу регулятора. Нет, все было в порядке – стрелка качалась в такт каждому моему вдоху. Значит, кислород по шлангу идет. Просто газы, которыми наполнено тело, начали пузыриться, отчего и возникло ощущение удушья.

До этого момента я сохранял спокойствие, довольный тем, что мои дух и тело переживают совместное приключение. Я раньше и не представлял, что можно переноситься в пространство, не трогаясь с места.

Сорок тысяч футов. Дышать все труднее. Но дух и тело крепко держатся за руки, вместе они лихорадочно ищут – не осталось ли где-нибудь хоть немножко воздуха, пусть самая малость. Нашли бы – проглотили одним глотком.

Моему духу и прежде доводилось знаться со страхом и тревогой, однако он впервые столкнулся с недостатком основного жизненного элемента, который всегда поставлялся телом автоматически. Я попробовал затаить дыхание и сосредоточиться, создать физические условия для работы мозга усилием воли. И тут дух задышал вновь – нехотя, словно идя на неизбежный компромисс.

Сорок одна тысяча. Сорок две. Сорок три. Я чувствовал во рту стойкий привкус смерти, присосавшейся мягким и теплым осьминогом. Я много мечтал о гибели, но не о такой, похожей на обволакивающую, темную субстанцию. Все время мозг напоминал мне: не бойся, это тренировка, ты не умрешь, но неорганическая игра, происходившая в моем теле, дала мне возможность воочию увидеть смерть, таящуюся над поверхностью планеты.

...Внезапно я сорвался в свободное падение. На высоте двадцати пяти тысяч вышел из «штопора», снял маску и испытал резкий приступ гипоксии; перепад давления отозвался оглушительным гулом в ушах, камеру заволокло белесым туманом.

Тест я прошел. Получил розовую карточку, свидетельствовавшую, что я годен к полетам. Отсюда было уже рукой подать до момента, когда я смогу выйти к рубежу, где смыкаются внутреннее и внешнее, где входят в соприкосновение кромка души и кромка тела.

День 5 декабря выдался ясным и чистым.

На аэродроме военной базы, посверкивая серебром, выстроились в ряд эскадрильи реактивных истребителей F-104. Возле самолета с бортовым номером 016 хлопотали техники, готовя машину к взлету. Впервые в жизни я видел F-104 в состоянии неподвижности, раньше мне доводилось лишь провожать завистливым взглядом его полет в небесах. Угловатый, стремительный, как божество, силуэт появлялся, прочерчивал синеву и тут же исчезал. Как долго мечтал я очутиться там, наверху, внутри этой серебряной точки! О, что это было бы за переживание! Какая самоотрешенность! Какая великолепная насмешка над упрямой домоседкой-душой! Как взрезает самолет небо, как распарывает этот гигантский синий занавес молниеносным ударом кинжала! Кто отказался бы почувствовать себя острием такого волшебного клинка?

Я был в красном скафандре, с парашютом на плече. Мне показали, как подключать и отсоединять жизнеобеспечивающие системы, проверили кислородную маску. Тяжелый белый шлем на время перешел в мою собственность. К каблукам сапог не прицепили серебристые «шпоры», которыми положено прикреплять к креслу ноги, чтобы не переломать их при взлете.

Было два часа пополудни. Солнечный свет, просеиваясь сквозь легкие облака, лился на аэродром мелкими посверкивающими каплями. Рисунок неба и освещение были совсем как на полотнах старых мастеров-баталистов. Из невидимого алтаря, спрятанного за облаками, на землю падали тонкие светонесущие лучи. Я не знаю, зачем небу понадобилось именно в тот день разыграть столь величественное, грозное и старомодное действо, зачем свет струился вниз так весомо, осеняя дальние леса и деревни таинственным, неземным сиянием. Очевидно, небо знало, что сейчас оно будет взрезано, и устроило торжественную прощальную мессу. Отвесные лучи казались мне трубами огромного органа...

Я сел в заднюю кабину, прикрепил «шпоры», еще раз проверил маску, закрыл над собой стеклянную полусферу фонаря. Пилот находился в передней кабине, мы разговаривали по радиации, и нашу беседу все время прерывали отрывистые команды на английском. Прямо перед коленями желтело кольцо катапульты, уже вынутое из гнезда. Вокруг – множество приборов: альтиметры, спидометры, барометры. В моей кабине был дублирующий штурвал, и я наблюдал по его движениям, как летчик проверяет систему управления.

14 часов 28 минут. Заработали двигатели. Сквозь металлический гул я слышал оглушительное, почти ураганное дыхание напарника. Четырнадцать тридцать. Наш 016-й плавно вырулил на взлетную полосу, замер на месте и включил двигатели на полную мощность. Я почувствовал себя совершенно счастливым. Я отправлялся в мир, где повседневное, обыденное, наземное не в цене. Разве можно было сравнить такой момент со взлетом пассажирского лайнера, перевозящего обывателей с места на место!

Я очень долго, страстно, нетерпеливо ждал этого мига. Все познанное осталось за спиной, впереди – только неведомое. Мгновение взлета напоминало взмах лезвием тончайшей бритвы. Да, я давно мечтал испытать это ощущение, причем именно при таких жестких и беспримесных условиях. Ради нынешней минуты я, наверное, и жил. Меня переполняли любовь и благодарность к тем, кто помог моей мечте сбыться.

Как же я мог забыть, что есть такое слово «прощание». Я был похож на чародея, усилием воли пытавшегося вычеркнуть из памяти роковое заклятье.

Взлет F-104 будет впечатляющ. Отметку в десять тысяч метров, которую истребители военной поры достигали за пятнадцать минут, мы минуем всего за две минуты. На меня обрушится перегрузка, стиснет внутренности стальным кулаком, превратит кровь в тяжело струящийся золотой песок. С моим телом произойдет алхимическое превращение.

Острый серебряный фаллос истребителя вздыбился навстречу небу. Я ощущал себя заряженным в него сперматозоидом. Скоро мне предстоит узнать, что чувствует сперматозоид в момент семяизвержения.

У меня нет сомнений в том, что перегрузки, вызванные высотным полетом, – одно из самых редких, маргинальных, диковинных ощущений эпохи, в которую мы живем. Нет периферии, более отдаленной от нашего обыденного опыта. Мне думается, что высшее проявление психической деятельности сегодня можно испытать лишь в момент перегрузки. Гроша ломаного не стоят любовь или ненависть, не готовые подняться на такую высоту.

Перегрузка – физическая ипостась всесокрушающей божественной воли; это опьянение, полярно противоположное обычному хмелю; интеллектуальная вершина, являющаяся антиподом разума.

F-104 оторвался от земли, нос его был устремлен вверх. Не успел я опомниться, как мы уже пронзили пелену облаков.

Пятнадцать тысяч футов, двадцать тысяч.

Стрелки альтиметра и спидометра металась по циферблатам проворными белыми мышками. Предзвуковая скорость 0,9 Маха.

Вот и перегрузка. Она показалась мне совсем не мучительной, а, наоборот, нежной и сладостной. Грудная клетка стала совершенно пустой – словно из нее исторгся стремительный водопад. Я ничего не видел, кроме пепельно-голубого купола неба. Мы как бы вгрызлись в небосвод, откусили от него изрядный кусок и проглотили. Голова была на удивление свежей и ясной. Кругом – безмолвие, покой, безбрежность; по голубизне разбросаны семяподобные лужицы облаков. Я не могу сказать, что чувствовал себя проснувшимся, ибо до того я не спал, но пробуждение все же состоялось – моя душа содрала с себя некую обволакивающую пелену, представ передо мной чистой и нетронутой. Солнце безжалостно слепило меня, заливая кабину сиянием, а я задыхался от светлой радости. Зубы мои были стиснуты, словно от невыносимой боли.

Я находился внутри того самого F-104, который прежде видел только высоко вверху, рассекающим небо! Я оказался внутри этой отдаленной серебряной точки! Еще совсем недавно я принадлежал к числу обитателей Земли, и вот я уношусь от них в неведомую даль: я превратился в точку, которую они провожают взглядом, чтобы тут же о ней забыть.

Стоит ли удивляться, что сияние солнца, наполнявшее кабину голым, неистовым светом, казалось мне ореолом славы. Именно так представлял я ее: неорганический, сверхъестественный, беспощадный свет, переплетенный с опасными космическими лучами.

Тридцать тысяч футов, тридцать пять тысяч.

Море облаков далеко-далеко внизу, оно расстилается ровным ковром белого мха. Истребитель мчит на юг, в сторону океана, чтобы не преодолевать звуковой барьер над населенной местностью.

Четырнадцать сорок три. На высоте в тридцать пять тысяч футов мы постепенно убыстряем движение и переходим с предзвуковой скорости на 1,15 Маха, потом 1,2 Маха, 1,3 Маха. Высота – сорок пять тысяч. Солнце сползает куда-то вниз, мы уже выше его.

Ничего не происходило.

Просто плыл в ярком сиянии серебряный самолет, сохраняя идеальное равновесие. Я снова оказался в герметичной неподвижной камере. F-104 словно оцепенел. Маленький серебряный домик причудливой формы, застывший среди небес.

Давешняя барокамера имитировала полет в безвоздушном пространстве очень точно: недвижность лучше всего передает ощущение предельной скорости.

Я не испытывал ни малейших признаков удушья. На душе было светло, мысль работала ясно. Я сделал открытие: замкнутое пространство и пространство открытое способны служить человеку, его душе одновременным обиталищем. Раз в апогее действия и движения находится покой, то вполне вероятно, что окружающий меня небесный простор, ковер облаков, мерцающее бликами море, сползшее вниз солнце – суть явления моего внутреннего мира. Отдалив-

шись от земной поверхности, приключение духа и приключение тела без труда нашли общий язык. На эту-то высоту и мечтал я воспарить.

Застывшая в небе серебряная трубочка олицетворяла мой разум, а ее неподвижность – состояние моей души. Мозг лишился защиты черепной коробки и стал доступен окружающей среде, как морская губка. Мир внутренний растворился в мире внешнем, они общались друг с другом совершенно свободно. Простая вселенная, состоявшая только из облаков, океана и заходящего солнца, превратилась в величественную панораму моего душевного устройства. В то же время явления и события моего «я» сбросили оковы психологии и эмоций, превратились в гигантский росчерк, размашистые письма на небосклоне.

Тут-то я и увидел змею.

Белая змея облаков вцепилась в собственный хвост и обмотала землю бесчисленными кольцами.

Все, что предстает перед нашим мысленным взором – пусть даже на миг, – существует на самом деле. Если не сейчас – так вчера, не вчера – так завтра. В этом сходство барокамеры с космическим кораблем или моего рабочего кабинета в ночной тиши с истребителем F-104 на высоте сорок пять тысяч футов. Тело наполняется светом грядущей одухотворенности, дух озаряется предчувствием телесности. А сознание непрестанно наблюдает за этими взаимопревращениями. Вот и мое сознание обрело легкость и ясность дюралюминия.

Если исполинская змея, обволакивающая и поглощающая все полярности, предстала пред моим взором, значит она есть в действительности. Она застыла в вечности, гонясь за собственным хвостом. Кольца ее – просторнее смерти, душистее гибельного аромата, что коснулся моих ноздрей в барокамере. С сияющих небес на нас взирает великий принцип единства сущего.

В наушниках раздался голос пилота:

– Сейчас снизимся, возьмем курс на гору Фудзи, сделаем вокруг нее кружок, а потом покрутим восьмерки, малость покувыркаемся и домой. На обратном пути пролетим над озером Тюдзэндзи.

Справа показался черный, словно вырезанный ножницами силуэт Фудзи, по самые плечи укутанной в облака. Слева поблескивал предвечерними бликами океан, белым йогуртом клубилась дымка над дальними островами.

Мы уже спустились до двадцати восьми тысяч.

В прорехах меж облаками пылали огненные лилии – это пламенела закатными красками и благоухала гладь океана. Края облаков, окрашенные пурпурными отсветами, и в самом деле были похожи на лепестки цветов.

Икар

Неужто я принадлежу небу?
А если нет, то отчего
Оно так пристально взирает на меня
Своими синими очами
И манит душу вверх,
В неведомые выси,
Где человеку места нет?

Рассчитан точно мой полет,
Обдуман, выверен, измерен.
В нем нет и ни на гран безумья.
Но разве сама жажда взлета
Не похожа на безумье?

Ни в чем мне не дано найти отраду,
Земле не удивить меня своими
новинками.
Я рвусь в высоты,
Где властвует тревога,
Где совсем рядом лучи солнца.
Но отчего они сжигают меня,
Эти безжалостные лучи разума?
Почему они хотят меня уничтожить?

Чем дальше вниз до людских селений
И змеящихся изгибов рек,
Тем милей они сердцу,
Тем легче с ними мириться.

Зачем вызывают они ко мне,
Суля возможность любви,
Любви к человеку и всему человеческому,
– Если только я взгляну на них с высоты?

Ведь я не любви искал!
А если ее, то, значит,
Я не принадлежу небу.
Я не завидовал свободному полету птицы,
Не мечтал сравниться в безмятежности
с природой,
Лишь хотел быть выше и ближе.
И от этой загадочной жажды
Разрывалась грудь.
И тянуло броситься в синее небо,
Прочь от органики земных радостей,

Прочь от грез о превосходстве.
Вверх, все выше и выше,
Чтоб плавился воск крыльев
От жара и дурмана.

А может быть,
Я все же – тварь земная?
Иначе зачем бы стала Земля
Так радостно принимать мое паденье?
Она не дала ни опомниться, ни одуматься,
Она поманила мягкой истомой
И встретила ударом стального щита.
Зачем податливая Земля
Обернулась безжалостной сталью?
Неужто лишь чтобы напомнить о том,
Как мягок я?
Чтобы сама природа мне объяснила:
Паденье естественней взлета
И непостижимого накала страсти?

Неужто лазурь неба – химера?
Неужто мой полет – затея Земли,
Соблазлившей своего питомца
Жарким хмелем восковых крыл?
Неужто и небо с Землей заодно,
Исполнитель моего приговора?
За что осужден я на казнь?
За то, что не верил в себя?

Или, наоборот, верил слишком сильно?
За то, что возжаждал понять,
Кто я на самом деле?
Или, наоборот, решил, что все знаю?
За то, что хотел улететь
В незнаемое
Или познанное – не важно?
Ведь то и другое лишь точки,
Синие точки духа.